

1 января 2020

Предыстория эры ипостасности ещё не написана. Эры возможной или невозможной. Тут различные версии, основанные на том – что положить как фундамент в историческом развитии. До сих пор еще не определили, какие позиции существуют. Позиций много. Пора интегрировать их, с тем чтобы определить наиболее типовые. Вот социальные аспекты развития, вот сфера производства, социальный строй – это более менее рассмотрено. Другие, противостоящие социальности, намечены и тоже развиты, и даже проверены. В какой-то мере и проверены историческим опытом войны, мира.

В основном, двадцатый век был веком такой проверки. Социалистическая и коммунистическая версия это лишь одна из возможностей. Но, конечно, для приверженцев социализма и коммунизма это была главная и научная версия. Но вот расово-биологическая версия признавалась и мифологией, и руководством к действию для приверженцев фашизма и нацизма. И опять же, 20 век в схватке, в страшной войне этих двух ориентаций был проверкой и той, и другой версии. Некая правда и существенная правда была и с той, и с другой стороны. И последствия и той и другой концепции развития, той и другой концепции будущего тоже были выявлены и напугали человечество. Вполне справедливая коммунистическая версия недоучитывала культурно- духовные основы развития. Фашистская явно игнорировала социалистическую и коммунистическую версии, ввергая своих приверженцев в страшную катастрофу, преступную деятельность. Уже не в Средневековье, а в некое животное разрешение проблем. Отсюда уничтожение целых народов, порабощение их, расовая теория, война и попытка таким образом заявить о возможности спасения планеты, спасения от перенаселения и от присутствия на ней людей разной расовой принадлежности. Не только хозяев, но и тех, кто по природе как бы предназначен быть в рабстве. Социалистическая, коммунистическая версия теоретически открывала возможность царства свободы, при условии разрешения основных социальных проблем неравенства в пользу равенства, равноценности и добытого на путях свободного производства изобилия. Она, в сущности, открывала возможность духовной истории человечества. И поэтому марксизм предполагал, что вся история до коммунистического

этапа, до победы коммунизма есть лишь предыстория. А настоящая история наступит тогда, когда люди будут решать другие – познавательные, культурные, духовные проблемы, которые сейчас как бы на втором плане, ибо, прежде всего, нужно людей накормить, а потом уже требовать от них, чтобы они были людьми.

Иными словами, всё то, что, в частности, в монологе великого инквизитора сформулировано. И Христос в поэме Ивана Карамазова ничем не возразил инквизитору. Вернее, он возразил только своим присутствием, самым фактом его появления. И этим поступком, который мог совершить только Христос, подлинный Христос – поцелуем инквизитору. Сейчас, когда мы откатились к агонизирующему, конечно, агонизирующему, капиталистического характера устройству общества и организации производства и международных связей, мы не доцениваем этого поединка коммунизма и фашизма. Поединок этот, его смысл, глубина того противостояния, которое разрешалось во Второй мировой войне и Великой Отечественной, нашей войне, может быть оценена лишь с позиции идеи ипостасности – как определяющей понимание развития и подготовке к победе того будущего, где ипостасность будет основой. Я думаю, что стоит, по возможности, уточнить здесь все подходы к возможным обоснованиям этой новой идеи и критически осмыслить то, что предшествовало ей, то, что, в сущности, её подготовило – в социальном, духовном опыте народов, общества, формаций.

Интересная задача. Ведь и в самом деле, очень многое в попытках вывести всё из социальных отношений неточно, не вполне подтверждено. Что из чего исходит? Социальность из духовного опыта или наоборот? Кто знает, духовная культура, где так или иначе встречаются и аналитическая, и религиозная, и художественная идея, вот всё это есть результат просто борьбы за жизнь, за то, чтобы быть сытым? Что совершенно естественно и явно было в опыте. Или, наоборот, самое важное, самое глубинное, связанное с пониманием себя и мира. Процессы осмысления жизни. Того, что не только Толстой мог бы назвать сознанием, истинным сознанием жизни. Может быть, все же они порождали и некие социальные решения, они объясняли и оправдывали тот или иной строй, ту или иную формацию, тот или иной способ мироустройства? Крушение социалистической и коммунистической идеи, крушение не самой идеи, между прочим, а того, что

под знаком этой идеи было создано в развитии общества и той же социальности. В условиях, когда фашизм был опровергнут и отвергнут; оказывается, не до конца опровергнут и отвергнут, он имеет тенденцию к возрождению сейчас, обновлению, быть может, или наоборот, даже к вульгаризации того, что было.

Так вот, этот опыт осуществления на практике социальной идей – не есть ли нечто, проистекающее из опыта духовной культуры? Прежде чем быть сытым, нужно понять, кто ты такой. Что такое мир, откуда он, и в чём смысл его бытия. Эта идея столь же несомненна, столь же основательна, как идея социалистическая, коммунистическая. И вот здесь религиозная, научная, художественная версия ипостасности, самый принцип ипостасности, может быть, определит целую эпоху. Целую новую эру, где прежние проблемы, вопросы будут решаться и с учетом опыта, положительного и отрицательного, бывшего в истории. И основываясь на человеческой природе, которая не просто создана опытом борьбы за жизнь, опытом труда, но и унаследована из каких-то не вполне определенных источников и потому требует паритетного рассмотрения в религиозном, научном и художественном осмыслении бытия. Борьба за жизнь, борьба за существование, конечно, необходимо.

Но опыт показал, что эта борьба не может быть основой всей духовной культуры человека, человечества, народов, государств. Она решает лишь определенные задачи, и то решает их не до конца, если не учтен опыт духовной культуры. Опыт духовной культуры предполагает не только то, что осмыслено в сфере социальности, но и то, что, как я пытался сейчас сформулировать самому себе, то, что унаследовано – из непознаваемых, а не только из непознанных источников. Которые явлены параллельно с опытом социальности, но не сводятся к нему. Возможно, эти размышления весьма условны и наивны. Если вспомнить хорошо разработанную, хотя и во многом погибшую от догматизма социалистическую и коммунистическую версию. Но именно здесь может быть выработана, выявлена важнейшая поправка к этой идее. Я имею в виду социалистическую и коммунистическую идею, которой все равно принадлежит будущее. Поправка, дополнение, восполнение, вновь рождение этой идеи.

Построить царство божие на земле невозможно, не признав царство божие в небе. Надо воссоединить то, что до сих пор противостоит одно

другому. Небо и Землю. Надо постранствовать в этих, казалось бы, запредельных мирах. И вернуться оттуда к нашему миру. Во всеоружии того духовного опыта, который при этом будет получен. Такого ещё не было. Ибо весь духовный опыт социализм и коммунизм признавал как нечто вторичное, как нечто такое, что может изменяться, может приспособливаться, может корректироваться в зависимости от обстоятельств; во всяком случае, должен быть объяснен только из социального, из социальной истории. Если же мы подходим иначе, то историю надо переписывать, не упуская ничего из того положительного, что в ней уже было выявлено. И учитывая предысторию эры ипостасности. Я думаю, от этого не проиграет ни собственно социалистическая, коммунистическая идея, ни традиционная, в том числе, православная вера. Они, наконец, восполнят друг друга. Они совершат ипостасное взаимообогащение, ипостасную взаимопереходность, что решительно обновит знание и обогатит его. Пока что мои детские раздумья кажутся фантазиями и такими примитивными попытками обновить уже готовую и застывшую в догматике, а на самом деле, не разработанную, по-настоящему еще не осознанную вполне коммунистическую версию.

Но и сама эта версия, понятая как определённый этап предыстории ипостасности, обретет совершенно новый смысл. В самом деле, если Гумилев в своей идее пассионарности обновил, восполнил во многом представление об историческом развитии народов и государств на разных этапах истории, при разных формациях, то идея ипостасности значительно шире. Она значительно более емкая. Она вбирает в себя и то верное, или то мифически предощущенное, что есть в гумилевской теории. А это только один из примеров. По-новому нужно собрать наследие прошлого, по-новому осмыслить его под знаком ипостасной идеи. И, кто знает, быть может, детские экзерсисы мысли, эти попытки поговорить с самим собой, оправдаются и станут исторически влиятельными, основой целой эпохи. С чего начать здесь? С собственно религиозных, с философских, с научных или с художественных подходов к этой проблеме? То и другое, и третье по-разному, но в равной степени важны. Я попытаюсь всё-таки начать с художественных, потому что некие философские и религиозные размышления уже вошли в этот разговор с самим собою. Этот мой разговор с самим собою. А вот собственно художественное решение. Насколько оно

состоялось в том, что я пытался писать? Насколько оно состоялась помимо меня? И насколько оно будет состоятельно в ближайшем будущем в литературном развитии, которое надо рассмотреть как ипостасное проявление общекультурного и социального развития народов и государств? И России. В первую очередь, России. Здесь есть о чем подумать.

2 января 2020

Ипостасность скрепляет идею союза государств, идею совершенно фантастического по сегодняшним меркам – союза всех государств на нашей планете. Советский Союз был неким прообразом. Но идея ипостасности не была осознана, и это привело к неизбежности тех напряженных, страшных, трагических сюжетов истории, которые мы в 20 веке пережили. У Ленина была идея создания государства нового типа как переходного между эпохой современной ему и будущей эпохой царства свободы, когда необходимость будет преобразена идеей свободы. Это было заявлено, и как ни странно сказать, по-настоящему теоретически не было обосновано. Хотя практически осуществилось созданием Советского Союза, по Ленину. Только нужно помнить, что эта идея жила в тот исторический момент, когда казалось, что мировая революция охватит все европейские государства, весь самый передовой продвинутый мир цивилизации. Который потом присоединит к себе остальные миры планеты. Скоро стало ясно, что мировой революции не будет, она не состоялась. И тогда со всей жёсткостью встала проблема государства. Государства – как всё-таки института насилия. И государство это, сохраняя значение переходного к царству свободы, отодвигало это царство свободы в неопределённое, никем не вымеренное, по-настоящему, будущее. И Сталин уже не занимался проблемами царства свободы, он был государственник. Нужно было укреплять именно государство в условиях, когда только что закончилась Первая мировая война и готовилась новая. Всё это известно. Но все это до сих пор не учитывается не только пропагандой, которая сейчас существует на довольно низком уровне, но и политикой. И тем, что больше политики скрепляет времена, соединяет их и даёт возможность жить народам и их культурам.

Да, всё это так. Отсутствие идеи ипостасности не позволило по-настоящему осмыслить опыт нашей истории. Но она – это именно наша

история, Российская, продолжает влиять на историю мира. По сути, эту историю творит и сейчас, когда мы изменили идею союза, и союзное государство у нас пока не очень получается. Потому что опять встаёт идея империи, приоритета какого-то одного народа и одного из государств. Подчинение ему других народов, что уже не проходит сегодня, не может быть осуществлено, ибо, как бы мы ни изменяли нашей исторической памяти, но память эта возвращает нас к тому, что было в двадцатом веке. Итак, идея ипостасности. Не толерантности. Не имперская попытка подчинить всё какой-то одной стороне, а именно идея ипостасного единства стран, народов, их культур. Как сделать, чтобы эта идея вошла в политику и преобразила ее, сняла бы с нее проклятие лжи и насилия, которое любая политика так или иначе вносит в опыт. Как бы это сделать? Ну, хотя бы, надо разобраться кому-то одному. В том богатстве исторической памяти, исторического опыта, которое удалось ему собрать в своей душе в течение своей жизни, вместив это в свою ипостась. Это некая закономерность, действие которой я испытываю на себе при всей слабости моей, при всем недостатке тех сил, которые помогли бы собрать духовную культуру будущего как основу исторического развития на новом этапе. Многого не хватает.

Но ведь сколько было продумано, сколько пережито и сколько было обсуждено с людьми. Понятно, почему я всю жизнь учитель. Я с самого начала строил свое преподавательское дело как некую такую организацию свободы, которая позволяла бы проверить, выверить, подвергнуть безжалостной проверке чисто теоретически, в беседе, в обсуждении проблем литературы, произведений, в которых так или иначе поднималась эта проблема. И вот мой полифонический урок и полифоническая система преподавания, когда каждому из учеников обеспечивалась возможность своей интерпретации художественных текстов. И интерпретации в своём стиле, своём индивидуальном стиле, и опыт из этих разных, равноправных, полифонически соотносимых друг с другом путей. Опыт создания уроков – целых систем на протяжении класса, года обучения, да и в пределах одного урока, 45 минут. Это сделало меня и методистом. И учебники по литературе для старших классов, для 10 и 11, где я оказался редактором и пытался разработать общую концепцию. Она была заявлена по-разному и в самом учебнике выразилась. И в тех беседах с учителями России, которые в системе

вэбинаров со мной это обсуждали. Все это естественно для меня, потому что я обсуждал идею ипостасности в отношениях между людьми, между разными человеческими «я» на материале самом сложном, предельно сложном, каким была для меня мировая литература и ее опыт. И русская литература как часть мировой. Именно там, на том лучшем из возможных языков, на котором можно было бы высказать сложнейшие мысли по поводу, казалось бы, неразрешимых, но разрешаемых исторических проблем. Именно этот повод для обсуждения проблемы ипостасности был необходим и достаточен. Почему до сих пор я так и остаюсь учителем. Ко мне приходят школьники и пишут работы в течение года, и защищают их. И каждый находит свой путь, и каждый определяет свою тему, и свой жанр для того, чтобы свободно выразить то, что по этой теме он мог бы сказать. В общем, кое-что сделано. Сейчас, вроде бы, к учебнику, который вышел и известен в России, может быть, мы вернемся. Во всяком случае, эта сфера моей жизни органично связана с попыткой обсуждения с людьми ипостасной идеи. Хотя сам термин я старался не употреблять в методике. Здесь нужна была та самая философская, в свободной форме, книга, которую я сейчас надиктовываю. Это ненаписанная повесть, подступы к которой я пытаюсь осознать. Но и сама эта беседа с самим собой уже есть некая, в особой форме, повесть. И то, что она не написана, а вот так задиктована, это пока естественно.

Так или иначе, эту идею надо стараться ещё и еще раз понять, разъяснить самому себе и найти какие-то особые способы, чтобы она проникала в жизнь, была внесена в жизнь. Это мой способ почерпывать из музыки, как сказал бы Блок, подымать почерпнутое до гармонии и вносить гармонию в жизнь. Гармония при этом это и есть идея ипостасности. И не только идея, но попытка ее осуществления. И я пытался это делать. И продолжу свою скромную попытку сделать мою любимую, мою самую близкую душе идею достоянием всех. Кое-что получилось и в Союзе писателей. И был в моем опыте лектором нескольких ВУЗов – в большом Университете, и в Герценовском. Если подробно все это описать, получится большая книга. Получится исповедь, которая охватит многие сферы. Здесь были удачи, здесь были неудачи. Мне ведь очень много приходилось читать лекций учителям. Это самая трудная аудитория. Кое-что не получалось. Но многое и получалось. И я не знаю, правильно ли было мне уйти, не рассказав

об этом. А вместе с тем, мне очень трудно захотеть повести такой рассказ. Потому что многое уже было выражено словом. Хотя то, что написано, далеко не вбирает в себя всё, что можно было бы рассказать. Не тот жанр и не те жанры. Ну и в художественном – еще очень многое надо было бы сделать. Поэтому я не чувствую, что эта грань моей ипостаси где-то остановит меня и предпишет мне завершить то, что я хочу высказать. Нет. Ипостась прервется, я перейду эту грань. Я где-то и когда-то начну заново. Я не буду помнить обо всем о том, что помню сейчас. Но по тому, что удалось мне написать, напечатать, кто знает, может быть, сам, не осознавая этого, доберусь до себя самого, прошлого, до себя самого другого. Так предписывает природа. Я с досадою признаю это, потому что именно сейчас, уже в памяти и даже отчасти в слове, вот в этом разговоре с собою, собирается всё то, что ещё не удалось не только рассказать, но и осознать по-настоящему. Я всё равно чувствую необычайный какой-то запас сил, который каждое утро дает себя осознать. Вот и сейчас мне нужно было один раз в этом своем разговоре с самим собою сказать себе то, что я сейчас попытался сказать. Я думаю, что, несмотря на мою беду, кое-что я ещё успею.

Мне всё-таки посчастливилось видеть Сикстинскую капеллу Микеланджело. Но я всматривался и в репродукции, и меня поражало и как бы просвещало это особое видение бытия, заполненное человеческими телами. На фресках Микеланджело нет пейзажей. Одни только обнажённые тела. И в них нет эротизма. Это философские и одновременно предельно художественно воплощенные образы бытия. Потом, когда я перечитывал Достоевского, мне показалось, что он точно так же заполняет свои творенья уже не телами, а душами, сознаниями человеческими. Которые столь же художественно полно выражены, выявлены, рождены в образах, по существу, телесных, поскольку особенность каждой из этих душ, каждого из этих сознаний столь осязательна, что невольно видишь, как она воплощена в человеческом теле. Вот эти сознания заполняют всё пространство романов. Там нет особенно пейзажей, натюрмортов, интерьеров. Там одни человеческие души, пластичные, воплощённые. И это как-то соотносимо с тем, что сотворил Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. И в своём «Страшном суде». А ему нужно было, с одной стороны, возобновить «Союз души и тела», даже после смертного часа. «Страшный суд» – прямое откровение в этом смысле. Возобновить «Союз души и тела». И вместе с тем,

совершенно по-новому, не так, как думали многие в то время, хотя это было время Ренессанса, уравнивать тело и дух. Видимо, такая задача, коль скоро она столь гениально была решена Микеланджело, а потом этот же опыт, эта же попытка решалась Достоевским в романах и Шостаковичем в его симфониях, будет решаться в будущем, будет решаться в том, что будет. Но, разумеется, для меня такое духовно-телесное ипостасное соотношение восполнится и пейзажами, и интерьером. В этом смысле Толстой мне ближе, ибо самый принцип ипостасности распространяется на мир, окружающий человеческое существо, – на фауну, флору и на мир сотворенных вещей, в которых по-своему оживает его ипостась. И все же, я помню, был обрадован и взволнован, когда увидел над собой потолок Сикстинской капеллы и «Страшный суд». И тогда я подумал, что правда Микеланджело тоже по-своему возобладает. Тогда невольно вспомнил, стоя в Сикстинской капелле, что писал когда-то сам и что включил в моего «Данте». Дай Бог памяти.

Немного суши и воды,
Немного неба надо мною.
Тела как спелые плоды
Заполонили остальное.

Скорее, души и тела,
Былой союз возобновите.
Его природа создала,
Чтоб регулировать развитие.

Мы так надеялись на вас,
И вы себя перебороли.
Ни в коем случае сейчас
Не выступайте в прежней роли.

Идёт решительный прорыв,
Еще плотней друг с другом сдвиньтесь...
И мы, весь мир заполонив,
Получим долгожданный синтез.

3 января 2020

Культурная и культовая даже идея ипостасности одна из самых антифашистских идей. И это в время, когда пытаются национал-социализм и интернационализм сопоставить и, по постмодернистски, приравнять. Ведь постмодернизм как раз и занят приравниванием противоположностей. Единство и борьба противоположностей, один из тезисов марксизма, преобразился в другой тезис: одно равно другому. И получается, что всё равно; все то, что равно, приравнивается к самому низшему из этого сопоставления. Высокое и самое низменное, самое животное в человеческой природе, если они равны друг другу, то выигрывает вот это самое животное. Ибо здесь нет идеи поднять животное, преодолеть его и, тем самым преобразив его совершенно, поднять до человеческого. А наоборот, спустить то, что воспринималось как высокое, человеческое, до животного.

Вот идея ипостасности принципиально преодолевает эту болезнь, эту опасность. Даже это не болезнь, а это страшный тупиковый итог неверного, изначально неверного понимания свободы. И ницшеанская концепция, которую иногда, довольно часто, рассматривают как предтечу, как некий Ветхий Завет нацизма, которая на самом деле не является таковой, – есть одно из проявлений, одна из модификаций тех не совсем точных представлений о свободе, которые были изначально. И в эпоху Ренессанса в том числе. Сверхчеловек ни в коей мере не представал у Ницше как ипостась других людей. Как ипостась любого человека, который может себя выявить, раскрыть, утвердить, усовершенствовать, поднять. Нет, большинство людей – хлам, сорище неудавшегося – должны были унавозить почву, на которой в будущем мог подняться и расцвести цветок сверхчеловека. Он заменял Бога. Теперь надо было жить не для Бога, а для сверхчеловека. И потрясающий афоризм ницшеанский о том, что люди, знающие, ради чего они живут, безразличны к тому, как они живут. Его можно перефразировать и несколько по-иному: люди, знающие, для чего они живут, безразличны к тому, кто они такие. Им есть – «для чего», и это «для чего» – вне их, перед ними, а не в них самих.

Идея толерантности – идея терпимости по отношению к враждебным друг против друга особям отчужденного, разобщенного, расколотого (как хотите!) мира. От толерантности до фашизма один шаг. Толерантность –

подступ к тому, что в недавнем ещё прошлом, но уже прошло более полувека, выразился в гитлеровском коллективизме. У него были хорошие коллективы, но они не были основаны на принципе, на чувстве ипостасного соотношения друг с другом. Это было совсем другое соотношение. Это было соподчинение тому, что стоит над людьми, впереди их, и властно и властительно ведет за собой.

К великому сожалению, история нашего российского и мирового социализма не отмежевала себя от этой опасности. Поэтому так много внешнего сходства между национал- и интернационал- социализмом. И там и там государственность, и там и там дисциплина, и там и там вождизм. Цели другие, цели разные. Фашизм предполагал отрегулировать численность народонаселения путем уничтожения целых народов и обращения в рабство оставшейся части. Сначала по расовому принципу – это были люди определённой национальности. Потом, когда трудности и неудачи в войне с Россией, Советской России, стали очевидны, надо было набирать в свой актив наиболее удавшиеся экземпляры и других национальностей. Тут была и Польша, тут была отчасти и Украина. А перед самым концом Гитлер даже мог полагать о том, что, если немцы не выполнят своего назначения, то тогда противостоящие им люди советского мира выполнят эту его задачу. Таким образом, перекидывается мостик от той эпохи в нашу. По-настоящему отмежеваться, выявить глубочайшую разницу не только в целях, но и в соотношении, в сущности отношений между людьми так до сих пор не удалось. И вот идут споры. А тем не менее, идея ипостасности и в данном случае выводит из заблуждения. Выводит, но она требует культурного, глубоко культурного, даже культового обживания, приятия, когда и в религиозном, и в научном, и в художественном проявлении эта идея понемногу, но войдет в плоть и кровь поколений.

Я-то в это верю, и вовсе не потому, что я фантаст. Один из очень популярных в свое время фантастов, писателей, Аскольд Львович Шейкин, очень высоко ценил мои стихи и прозу. И, очевидно, прозу. Да, именно её, по преимуществу. Он говорил о том, что мне удалось решить проблему смерти и бессмертия. Не буду повторять, как восторженно он определял это решение. И он считал мои писания, мои опыты, в стихах и в прозе, великим событием эпохи, времени. Он это говорил мне незадолго до своей смерти. Но вспоминаю я сейчас об этом только для того, чтобы сказать, что я все же

не фантаст. Может быть, он так высоко и ценил мою прозу, что прилагал к ней мерку фантастики, в которой сам был мастер. Я-то думаю, что я всё же не фантаст. Идея эта культурная. Возможности свои я оценивать не могу. И значения того, что сделано, тоже. Но возможности самой идеи, возможность самого культурного ее выражения и воплощения, может быть, сначала в культуре, потом и в политике, в нравственности. Тем более, что такой роман, как «Политик», кричит о необходимости того, чтобы это было. Иначе на нашей российской почве родится фашизм. И в романе показано, как это происходит. Разумеется, не все пружины, не все технологии этого перехода там изображены. Но там, по крайней мере, названа эта опасность, эта возможность. А вместе с тем, способ изображения отношений человеческих.

Учитель, политик, его дети – два сына, коммунист и нацист, его дочь, которая глубже и точнее чувствовала правду отца. Они соотносятся ипостасно друг с другом. И даже такая страшная ипостась, как младший сын. Именно потому, что эта ипостась обречена. Обречена на гибель. Нечто страшное происходит: старший сын убивает младшего. Проникнув в Кремль уже после победы фашизма на нашей русской, российской почве. Но это уже после того, как младший думал организовать убийство отца своего. Не буду пересказывать. Ипостась страшная. И прямо сказано, что это ипостась. Но именно потому, что это ипостась, она обречена. И об этом нужно было бы специально задуматься, как такое происходит? И почему обреченность ипостаси оказывается неизбежной, исходя из самой природы ипостасности?

Оказывается, что нечто низменное, враждебное, агрессивно навязывающее себя, агрессивно подменяющее собой всё, выпадает из органики ипостасности. Да, это ипостась, но она не может быть ипостасью. И этим определена её гибель. В романе, разумеется, нет никакого оправдания братоубийства. Коммунисты допускали насилие. Поэтому один из сыновей политика прибегает к нему ради благой цели. Но главное отрицание победившего нацизма и фашизма – в самом молодом поколении. Намек на которое в романе есть. Это те ребята, которые помогают политику спастись, и те, в которых оживёт сама идея ипостасности. В деревне, где политик оказывается, ещё не родился центр сопротивления, но там уже есть эти ребята. И в них оживает, живёт уже сейчас будущее народа. На это сделан очень мягкий, по сегодняшним временам, намек. Но он все-таки есть, этот намек. Политик, герой романа, оказывается совершенно вне всякой

социальности в итоге. Ему остается, в том государстве, каким становится Россия, только прятаться, уходить куда-то в лес, скрываться. Не говоря уже о том отчаянии, которое он переживает как отец. Но не чувствуется, что он один. Дочь, её муж, внук того, кто когда-то в молодости оберегал будущего политика. И вот эти деревенские ребята, которым поручено позаботиться об отце. И вообще, чувство такое, что люди, ипостасно близкие им природно, возможно, и живут в народе, дает этому роману какой-то запредельно для меня, запредельно неуловимый, но несомненный, оптимистический исход. Разумеется, я не говорю, как это получилось. По крайней мере, это заявлено. Роман опубликован. Кто знает, может быть, семечко, которое неумело брошено в этом романе, когда-нибудь прорастет. Во всяком случае, я еще и еще раз убеждаюсь в том, что ипостасная идея есть самая антифашистская из всех идей. И я сам чувствую потребность в ней, уже хотя бы поэтому. Может быть, я не так и ошибаюсь? Во всяком случае, сегодня, сейчас и завтра что-то подобное в духовной культуре народа, спасительное для настоящего и будущего, должно родиться. И должно вытеснить пустоту, растерянность и, казалось бы, обреченность сегодняшнего народного сознания. Эта обреченность кажущаяся. Она может быть и должна быть преодолена. Ну что ж, я поговорил сам с собой. Дай Бог, чтобы этого никто не услышал пока. Но самому мне это услышать было сегодня нужно, спасительно необходимо. И вот я, преодолевая совершенно естественное свое, беспощадно критическое отношение к себе самому, все-таки это себе сказал.

4 января 2020

Противоречащий смеётся, покатывается прямо у меня на глазах и вполне видим и ощутим. Гость мой. Ну что ж, пускай покатывается. Ему смешно не только антифашистское значение идеи ипостасности, но и апология коммунизма с помощью этой идеи. Но чем больше он покатывается с хохоту, вот я ещё и ещё раз это вижу, тем больше чувствуется, что он понимает, что иной альтернативы не существует. Если коллективизм фашистский и ипостасность абсолютно несовместны, противоположны, противопоставлены, то коммунизм и ипостасность тяготеют друг к другу. Вернее, не друг к другу, а этот сейчас отодвинутый, задвинутый коммунизм

вполне готов к тому, чтобы обновить себя с помощью идеи – религии, науки и искусства ипостасности. Весь вопрос в том, надо ли это делать.

То, что это безальтернативно единственный путь к будущему, это совершенно несомненно. И вот уже Противоречащий перестает смеяться. Вернее, смеется по инерции. Он видит, что я не обращаю внимания на него, и уже продолжает смеяться для себя самого. А вот и кончил. Дело в том, что не только есть тяготение ипостасности и коммунизма, но и многих других, лучших идей и направлений, которые знает история. Их надо собрать. То, что было как бы предчувствием, предвестием, предысторией ипостасного будущего, то получит вновь рождение, вновь развитие, обогатившись этой идеей. Вот вчера мы опять читали Трисмегиста Гермеса. Еще и еще раз видели, обнаруживали его изъян. Изъян этот сводится к тому, что отождествление Бога и его творения, производимое в пользу Бога, по сути, уничтожает, делает невидимым мир и источник тех сил, которые одухотворяют и объединяют всё в некое одно существо, как учит Гермес. А задача заключается в том, чтобы из этого невидимого состояния, из этого непроявленного ипостасного инобытия вывести эти силы в мир ощутимых, зримых, реальных и вполне материализованных. И, кроме того, удивительное презрение Гермеса к античной греческой философии. Утверждение, что это одни пустые слова. Видимо, всё-таки герметическое учение в Египте возникло в досократическое время. Там высказано опасение насчет перевод с египетского языка на греческий.

Нет, нужно ещё и ещё раз охватить весь человеческий опыт и понять его как предшествование, предчувствие, предисторическое развитие ипостасной идеи. Аналитическое, в основном. Оно требует синтеза. И великий синтез неизбежен. Вот это ипостасное сродство того, что противопоставлено друг другу и друг другу противостоит, очень многое прояснит в неясных проблемах коммунизма. Его не приемлют именно потому, что боятся насильственного единения людей. Толстой в единении людей видел главный и единственный прогресс. И его, толстовского состава, идея тоже должна быть соотнесена с ипостасной идеей. Недостача ипостасности делает слабыми, неосуществимыми, как кажется, все остальные лучшие идеи. Ведь если Толстой допускал на уровне опрощения естественное единение всех, то почему и не допустить, не признать то, что чувствуется, то, что назревает, – единение ипостасное, которое возникнет, возникает во всеоружии духовной

культуры в опыте каждого, кто соединяется с другими, ни в чём себя не ущемляя. Как одна ипостась не ущемляет себя по отношению к другой. Здесь много таинственного, много не раскрытого.

Тут целая бездна непознанного в таких отношениях межипостасных, связях, родственных, глубинно родственных соотношений человеческих «я». Это хорошо, это признак бесконечной жизни в будущем для этой религии, для этой науки и для этого искусства. В их ипостасном соединении, т.е. в их тождестве, в их различии, может быть, различии предельно конфликтном, и в их взаимопереходности. В том состоянии, когда конфликты могут быть разрешены и придут в особое гармоническое единство. Если всё это применить к тому, что обещает коммунистический коллективизм, то это будет то, ради чего человечество живёт. И все опасения относительно ущемления кого бы то ни было в таком царстве свободы отпадут, как некая тень, как некая недодуманность, недостаточность в применении ипостасного начала к реальности будущего.

Необходимость в будущем возникает заново, нарастает. Отсюда необходимость взаимопереходного ипостасного синтеза наиболее живых религиозных проявлений в человеческом опыте. И в первую очередь, христианства. Оно – родина ипостасности. Поэтому оно и стянет к себе лучшие идеи мира. И в том числе, коммунистическую идею, которая, ведь как мы помним, освобождала от многих институтов, сковывающих свободу. От государства, от денежных отношений, от этой поработавшей человека заботы о существовании, о сугубо материальном обеспечении жизни. Всё это совершенно неизбежно. И для всего этого нужен объединяющий принцип, чтобы вновь поставить перед собой задачу перехода в будущее. Да, конечно, православие консервативно. Любая конфессия консервативна на стадии юности человечества, когда идет осознанное противопоставление, противостояние, разграничение.

Но наступает пора зрелости, и всё это переходит в другое – ипостасное единство. Если мы спросили бы себя и друг друга, неужели ещё не назрела возможность такого перехода, неужели мы до сих пор должны быть рабами тех недостаточно ипостасных представлений, какие в эпоху юности сложились, казалось бы, в некие незыблемые системы? Или же нам нужно освободиться от этих пут? Не только материальных, не только связанных с обеспечением для себя хлеба насущного, но и духовных, в первую очередь.

Духовная культура на определённом этапе жизни, истории, бытия становится ведущей. Пусть она, с точки зрения, материалистов, догматиков, вторична. Но её вторичность обретает новые свойства и новую роль. Вторичность становится первичной силой. Это, если просто развить ту же материалистическую идею в новой системе. Но ведь она лишь одна из ипостасных идей. Если найден принцип соединения, принцип, который отнюдь не приводит к отказу от многообразия этого необычайного богатства различных духовных версий, а, наоборот, – развивает это многообразие и даёт возможность его осознать на путях ипостасного единения, то почему бы не принять такую версию будущего? И не попытаться взаимными усилиями, в частности, соединить на нашей российской почве православие, и коммунизм? Это всё не только назревает, не только готовится, но вот уже, казалось бы, созрело. Ну что, Противоречащий? Ты уже замкнул свой слух, потому что понял, что твоё противостояние обречено.

Так или иначе, сегодня или завтра, но путь ипостасного единения, в том числе, и единения людей, того особого, радующего душу ипостасного коллективизма, всё это предстоит, всё это предопределено всей логикой развития. Может быть выявлено и провозглашено как некое учение. А пока я один самому себе говорю о том. И пусть Противоречащий противоречит. Это великолепно. Это обеспечивает в единстве и многообразии. Даже, скажем, коммунистическая идея может быть осознана, как ипостасная, православной. И то, что при этом православная останется консервативной, уже не так важно, поскольку на коммунистической почве будут найдены формы и смыслы ипостасного единения с православием. А оно пусть побудет в роли Противоречащего. Всё равно, придётся так или иначе признать возраст, признать реальность зрелости и ответить ипостасным движением навстречу. И при всей правде и красоте консервативного, живущего в конфессии, обновить конфессию, не изменяя тому, что в ней признано откровением, незыблемым каноническим смыслом. И, казалось бы, единственным условием реальности, продолжения духовного бытия.

Ну вот, пора мне немножко вернуться из этого будущего, которое начинаю ощутимо видеть, к нашей современности. С каким-то новым чувством того, как в современности будущее рождается, шевелится, поворачивается, выявляет себя и обещает ипостасное осуществление себя самого.

5 января 2020

Множественность ипостасных миров, тождественных, разъединенных и единых силой взаимопереходности – тема до сих пор по-настоящему не тронутая. Всё равно я чувствую, что это предельно для меня философская формула любви. Не того, что называют эротизмом, а какого-то совсем особого, подлинно человеческого чувства. Более сильного, чем разъединение; более глубокого, чем тождество; безмерно богатого причастностью к неисчислимым проявленным и не проявленным мирам сознания. Я вспоминаю многих из тех, с кем меня судьба сводила на протяжении жизни, и тех, кого уже нет. Они такие разные, некоторые из них знали, что я им близок. И близок именно ипостасно, хотя они не называли такую близость этим словом. Другие не знали совсем об этом, даже не догадывались. А тем не менее, такое богатство взаимной сопричастности – это и была моя духовная жизнь. Я довольно часто оставался совсем один. Я не боюсь этого одиночества. Не боюсь и теперь, когда жизнь понемногу уходит от меня, и я уже многого не могу.

Но как ни странно, память о тех, с кем я сведен ипостасной силой и природой человеческой, возвращает мне жизнь. Особенно когда я думаю о том, что их нет. Когда вспоминаю об этом, пытаюсь представить себе это. Шурик Кожухов, с которым я познакомился и подружился в детстве, когда мне было 6 лет. Там, в Киргизии, в эвакуации. Лёня Кайданов, тот, с кем я в студенческие годы был на военной стажировке. И мы целыми ночами всматривались друг в друга, говорили о том, что нас интересовало. И оказывалось, что мы единомышленники в главном. Это было то же, как с Шуриком Кожуховым, с которым у нас были в свое время, в то время войны, детские игры, серьезные. Играли в Демона, в Лермонтова, воображали, что мы цари. Многое нас связывало. Но то была детское единство. Ну а потом, когда спустя много лет я опять приехал в Киргизию и узнал, что Шурик по оставшимся там работам моего отца научился рисовать. И теперь уже в Ленинграде, стал художником профессиональным. И узнав это, я встретился с ним, он приехал ко мне и увидел работы отца. И бросился к ним, как к чему-то сакрально для него близкому и дорогому, как к тому, из чего он явился как художник самому себе. Вадим Вацуро, с которым мы в студенческие годы были знакомыми, не друзьями. Но я очень

симпатизировал ему, и он проявлял ко мне интерес. Потом он стал ярким и даже знаменитым литературоведом в Пушкинском доме. Но когда мы встречались, мы сразу же вновь чувствовали ту интонацию, которая была нашей молодостью. Он очень рано ушёл из жизни, как и Лёня Кайданов, замечательный биолог в будущем, которое для него не состоялось. Вот вспоминая о них, о каждом можно подробно рассказывать, я собираю в своей душе богатство жизни, ради которой я явился на свет. И я пытаюсь понять, как же их нет. Как нет моей ученицы Иры Чукреевой, которая бросилась в Неву, покончила с собой. Она была очень талантлива, писала хорошие стихи, была одной из духовных опор в ЛИТО 30 школы. Которое само по себе – единство проявленных и непроявленных миров. Некоторые ученики мои живы. Не знаю, помнят ли они обо мне. Вернее, не обо мне, а о том, что нас тогда так связывало. У нас была некая особая жизнь, пронизанная вот этим чувством единства, ипостасного единства. Я старался предусмотреть и не допустить, чтобы это чувство подменялось только одним тождеством, только одним безоговорочным единогласием, в которое впадают люди, теряя ипостасность. Мне хотелось, чтобы каждый ещё был собою, мне хотелось, чтобы мы отличались друг от друга, чтобы мы спорили, чтобы могли по-настоящему друг с другом спорить. И чтобы мы этим расхождением тоже не подменяли ипостасное единство. Чтобы, как награда, нам было дано счастье взаимопереходного понимания, приятия, любовного сочувствия друг к другу.

Можно перечислять без конца те мгновения подлинного единства, которое я хотел бы, чтобы возобладало в будущем. Чтобы оно вообще было будущим. Если оно возможно было в отдельно взятом ЛИТО или в отдельных особых моментах соприкосновения судеб людей, которые друг другу не просто симпатизировали, а переживали мгновения какого-то особого единства. Если всё это возможно было, отдай мне, если это было подарено мне. Надеюсь, не только мне. Почему бы это не возобладало в том будущем, которое, не то что станет общим, оно никогда не станет общим в примитивном смысле этого слова, но будет именно многообразием проявленных и непроявленных миров. И туда я чувствую, прямо ощутимо переживаю возможность проникновения тех, кто ушёл. А я перечислил лишь некоторых из тех, кто ушёл. Страшно ушёл Шурик Кожухов, сгоревший в своей мастерской заживо. Горько ушёл Вадим Вацуро, сломленный

болезнью. И совсем молодым ушёл Лёня Кайданов. Я останавливаю себя, могу перечислять ещё и ещё. Но мне кажется, что среди непроявленных миров будущего будут и те, кто ушёл сейчас. Как ушел мой Миша, мой сын. И тут я пытался рассказать о том, как он может из того несказанно неуловимого уже сейчас для меня непроявленного состояния приходить ко мне. И то, что я рассказывал о том, как он ко мне приходит, это не мистика, это не просто фантастика. Конечно, это метафора. Метафора, за которой стоит реальность.

Это тот самый ипостасный реализм. О котором, не знаю, кто напишет, кроме меня. Но вот мой друг Виктор Кречетов, вроде бы, об этом написал. Но он попросил меня сформулировать кое-что в статье обо мне же. И я, как это ни странно в этом признаваться, согласился. Он принял мои формулировки. Ипостасный реализм. Поэтому пока получается, что один я пытаюсь осознать, понять эту особую степень любви, эту особую возможность единства, выше которого, счастливее которого ничего не может быть. А перед теми, кто ушёл, я, конечно, в долгу. О каждом надо было бы написать, как о Мише. Да и не написать, а просто сказать самому себе. Пока я ещё здесь, я попытаюсь это сделать. Тем более, что вот в такой тишине, как сейчас, в тишине этого утра, я как будто слышу их голоса. Голоса не раздаются, и слов я не слышу. Но они, ушедшие, готовы подать голос и сказать своё слово. Я воображаю этот разговор, включаю его в разговор с самим собою. Он становится частью моей попытки говорить ипостасно по отношению к самому себе. Такой разговор возможен. И пока никто не знает, что именно такой разговор я безмолвно веду в эти страшные для меня дни. И получается, что это, самое страшное, кроме смерти всех, кто ушёл, и смерти моего сына, уже не страшно мне. И чем больше я буду слушать эту особую тишину утра, тем больше я буду спасён. И ещё готов жить. И благодарно чувствовать, что жизнь мне ещё дана. И я могу многое возобновить, возобновить не буквально и не метафорически, а именно ипостасно. Это очень важно понять и сказать себе самому.

Мне всё-таки посчастливилось видеть Сикстинскую капеллу Микеланджело. Но я всматривался и в репродукции, и меня поражало и как бы просвещало это особое видение бытия, заполненное человеческими телами. На фресках Микеланджело нет пейзажей, одни только обнаженные тела. И в них нет эротизма. Это философские и одновременно предельно художественно воплощенные образы бытия. Потом, когда я перечитывал

Достоевского, мне показалось, что он точно так же заполняет свои творения уже не телами, а душами, сознаниями человеческими. Которые столь же художественно полно выражены, выявлены, рождены в образах, по существу, телесных, поскольку особенность каждой из этих душ, каждого из этих сознаний столь осязательна, что невольно видишь, как она воплощена в человеческом теле. И вот эти сознания заполняют всё пространство романов. Там нет особенно пейзажей, натюрмортов, интерьеров. Там одни человеческие души, пластичные, воплощённые. И это как-то соотносимо с тем, что сотворил Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы и в своём «Страшном суде». А ему нужно было, с одной стороны, возобновить союз души и тела, даже после смертного часа. Страшный суд – прямое откровение в этом смысле. Возобновить союз души и тела. И вместе с тем, совершенно по-новому, не так, как думали многие в то время, хотя это было время Ренессанса, уравнивать тело и дух. Видимо, такая задача, коль скоро она столь гениально была решена Микеланджело, а потом этот же опыт, эта же попытка решалась Достоевским в романах и Шостаковичем в его симфониях, будет решаться в будущем. Будет решаться в том, что будет. Но, разумеется, для меня такое духовно телесное ипостасное соотношение восполнится и пейзажем, и интерьером.

В этом смысле Толстой мне ближе, ибо самый принцип ипостасности распространяется на мир, окружающий человеческое существо – на фауну, флору и на мир сотворенных человеком вещей, в которых по-своему оживает его ипостась. И все же я, помню, был образован и взволнован, когда увидел над собою потолок Сикстинской капеллы и «Страшный суд». И тогда я подумал, что правда Микеланджело тоже по-своему возобладает. Тогда невольно вспомнил, стоя в Сикстинской капелле, что писал когда-то сам и что включил в моего «Данте». Дай Бог памяти. «Немного суши и воды, немного неба надо мною. Тела как спелые плоды заполнили остальное. Скорее, души и тела! Былой союз возобновите! Его природа создала, чтоб регулировать развитие. Мы так надеялись на вас, и вы себя перебороли. Ни в коем случае сейчас не выступайте в прежней роли. Идёт решительный прорыв, еще тесней друг с другом сдвиньтесь. И мы, весь мир заполнив, получим долгожданный синтез».

6 января 2020

Союз душ и тел – это их ипостасность. Былой союз – ипостась ушедшая, переставшая существовать или перешедшая в другую ипостась. Но по представлениям верующих и христиан, такой былой союз вновь возникнет на Страшном суде. Поэтому то, что цитировано в строках, наполовину в шутку обозначено. «Идёт решительный прорыв. Ещё тесней друг с другом сдвиньтесь, и мы, весь мир заполонив, получим долгожданный синтез». Это, вроде бы, о Страшном суде. Так что, если нужно некое доказательство, некий аргумент за то, что ипостасность существует, – нужно взглянуть на себя самого, почувствовать свою душу и своё тело, почувствовать единство в этом союзе духа и тела, почувствовать роковое расхождение между ними, роковое их противостояние, и достичь взаимопереходности. Ни в коем случае сейчас не выступайте в прежней роли. Былой союз это не возврат к прежним соотношениям духа и тела. Былой союз утверждает их ипостасность. Она будет осознана на Страшном суде, если таковой будет. И, может быть, этот союз осознает новая ипостась, которая сродни этому союзу. Тут, разумеется, есть о чем поразмышлять.

Но мой Противоречащий опять ожил и говорит мне: «Ты ведь такой же, как я. Ты не хочешь расставаться с этой твоей нынешней ипостасью. Точно так же, как я не хотел бы расставаться с жизнью. А новая ипостась это уже просто другой. Не ты. А былой союз и Страшный суд это всё выдумки веры. Верующий создал эти образы, но я Противоречащий, и я свободен от них. Поэтому ты воистину такой же, как я. И скажи мне, зачем нужны все эти разграничения и твой главный термин «ипостасность»? Я мужественно обхожусь без него. А ты, пытаясь создать некую новую веру, называешь другим словом то, что знает любой материалист и безбожник». Противоречащий говорит ещё многое в том же духе. Я спокойно слушаю это и вижу, как постепенно гаснет безнадежный, отчаянный энтузиазм возражений. И он целиком связан с одной из составляющих ипостасности – с разграничением, с противопоставлением того, что тождественно и при всех разграничениях одарено взаимопереходностью. Утверждая лишь разграничение, Противоречащий обедняет свою мысль. А я остаюсь в прежнем состоянии невольного и вольного верующего. Что касается Страшного суда, то ведь эта идея возобновления былого союза душ и тел подсказана

мне традицией и великой картиной, великим гением Микеланджело. Я могу верить или не верить в Страшный суд. Возможно, я верю, не покидая своей почвы, не изменяя идее ипостасности, ибо Страшный суд означает, во-первых, существование тех, кто возобновил этот былой союз душ и тел; во-вторых, это некий переход в некое иное, может быть, небытийное существование. Оно то же самое, но другое. Другое, но то же самое. И опять же, здесь есть о чём поразмышлять.

Могу ли я сказать самому себе, что былой союз душ и тел восстанавливает сознание? Или в какой-то степени восстанавливает былое сознание? Чтобы ответить на этот вопрос себе самому, нужно всмотреться в то, что сейчас живет в тебе как сознание твое. Попытайся выйти за пределы своей ипостаси, своей нынешней ипостаси. Попытайся узнать в ней все другие ипостаси твои. Если предвидеть новые почти невозможно, о прежних можно догадаться. Но и предвидеть тоже сознание может, потому оно и сознание. И вот я всматриваюсь в себя самого, вчувствуюсь в своё нынешнее состояние и знаю, что это не просто какая-то выдумка, не просто мифотворчество верующего. А то, с чем я уйду или, вернее, приду в своё другое бытие или в своё инобытие, или в свое небытие, которое вновь родит меня-другого. И это предчувствие не только касается меня, оно совершенно небывалым состоянием возвращает мне всех, кто мне дорог. И я могу уже прервать разговор с самим собою и говорить с ними. Противоречащий спешит мне напомнить, что это опасно, что это может быть безумие.

А я почему-то чувствую, что это то естественное ипостасное состояние, в котором я пребываю сейчас. Нужно только его понять. Именно его нужно осознать для того, чтобы сознание было верно себе. Уж если осознавать, то именно это. Осознавать не теряя себя, не теряя той связи с миром, которая определяется тождеством в ипостасном, не ограничивать себя в различии, в разграничении, в противостоянии одного другому при соотношении ипостасных начал. И достичь, наконец, этой способности к взаимопереходу, который есть разговор между нами. Если я достигаю это внутри себя самого, если я умудряюсь совершенно естественно каждое утро говорить с собою так, как сейчас, значит, можно сделать ещё один шаг и поговорить со всеми, кто мне дорог и кто от меня ушёл, опережая меня в переходе к иной, но своей же ипостаси.

Так я невольно и даже бессловесно разговариваю с Юваном Шесталовым, ушедшим недавно. Мы так глубоко поняли связь между нами, он с такой готовностью и с таким озарением духовным, внутренним шел мне навстречу. Когда мы встречались, когда мы бодались лбами, то он обнимал меня, он понимал, с чем я иду к нему, и отвечал мне своим, не похожим на моё, верованием в своё бессмертие. И когда он ушёл, разговоры, встречи наши продолжают. Это не просто воспоминание, воображение, это то, о чём можно было бы написать книгу. Но пока мне не нужно переводить этот бессловесный разговор в некий текст. Мне достаточно его. Я по-прежнему слышу его голос. Вижу тот его особенный взгляд. Он ведь всерьез верил в сознание природы и именно так разграничивал космическое и планетарное сознание. Мы уже говорили, что здесь он отчасти по-новому для себя повторил Фауста из первой сцены трагедии, где Фауст соотносил макрокосмос и микрокосмос. И разговаривал с микрокосмосом, с духом Земли, и созерцал пока ещё не доступную для него макрокосмическую гармонию. Всё это было совсем по-иному, не так, как у Гете, живо в сознании его. И, кажется, мы писали с ним одну книгу, ту последнюю, которую ему очень хотелось дописать. Я невольно подсказывал ему сюжеты и возможности романа «Откровение крылатого пастора». Черновики этого романа, вот, лежат передо мной, на этом круглом столе. Там очень много еще недосказано. Там он повторяет некоторые мои стихи, делает их эпиграфами к написанным и ненаписанным главам. Он считал важным этот разговор, эту необычайную родственность наших голосов. А я скромно, молчаливо слушал то, что он читал мне. И сейчас это чтение продолжается, и я мог бы многое записать. Может быть, мне и хватит сил. И вот когда такой живой ипостасный, не уходящий от меня образ Ювана возникает рядом со мной, напротив меня, Противоречащий просто исчезает. Он исчерпал свои возражения. Ему больше нечего сказать. Или нет, он ещё многое скажет, но он уже знает, что мы будем говорить втроём. И, может быть, это и был бы диалог в самом конце ненаписанной повести? Неужели мне хватит сил это сделать? Во всяком случае, он оттуда продолжает со мной говорить, продолжает свой ненаписанный роман. И пока только мы вдвоём знаем, как он может родиться до конца, до самой последней своей строки. А всего вернее, мы оба знаем, что этой последней строки не будет.

7 января 2020

Особенность русской духовной истории в ипостасном соотношении земного и небесного. Наверно, это не только русская история. Но именно здесь нужно искать своеобразие и социальной, и религиозной, и художественной нашей истории. Если представить себе, что галактическое богатство планет, светил, систем, всё то, что одухотворено любовью, которая движет солнце и другие светила, представить себе весь этот мир, состоящий из миров, – как переживающий закат своего бытия (солнце ведь понемножку будет гаснуть и гаснет уже сейчас), то земной мир, тот, который на нашей планете, будет воистину «восходом солнца в сумерках заката». И Господь, тот, в кого веруют, именно землю избрал опорой для преодоления тьмы, в которую погружается вселенная. Мефистофелевские размышления в «Фаусте» Гете о том, что надо уничтожить ему, Мефистофелю, предметы, материальные объекты, за которые цепляется уходящий солнечный свет и поэтому он живёт. А иначе он просто утонул бы во тьме, не встречаясь с вечностью, предметной, материальной вечностью и живя в ней, не задерживаясь в ней. И что вот понемногу уничтожение всего живого и всего материального приведет к конечному торжеству тьмы, из которой всё родилось.

Эти размышления опять приводят к мысли о том, как соотносится земное и вокруг земное бесконечное, космическое и сверхкосмическое бытие. Чтобы погрузить мир во тьму надо уничтожить землю. Именно на земной почве рождаются вселенские утренние зори бытия. И именно она, Земля, – «восход солнца в сумерках заката». Здесь будущее. Я вполне понимаю и Фёдорова, и тех, кто верит в возможность жизни на других планетах. Фламарион, видимо, шутил, описывая планеты, рассказывая о них как о населённых особыми сознающими существами, которые оттуда по своему видят голубую Землю. Я понимаю веру в возможность населения и одухотворения земным опытом не только солнечной, но и других систем. Но мне очень важно для самого себя по-особому отметить то, что речь идёт опять же о земном восходе солнца для всего небесного мира.

Речь идёт о том, что именно здесь рождаются силы, противоборствующие тьме. Даже когда она будет, казалось бы, побеждать. И понемножку уже побеждает. Так происходит в этом роскошном

неизмеримом пространстве, в этой системе миров, каждый из которых своя система. Земной восход солнца призван спасти вселенную. И в этом смысле герои Андрея Платонова, понимавшего коммунизм как попытку остановить остывание солнца, мне в высшей степени понятны. Они характерны для русской духовной истории. Но по-настоящему до сих пор они не осознаются. И Рождество Христа, которое вот было этой ночью, тоже трактуется без глубокого понимания смысла этого Рождества. Даже церковное песнопение и литургии говорят обо всём, что связано с Христом, а не о его Рождестве по преимуществу. Наверно, здесь ещё христианский мир многое откроет, многому научится и найдёт более точные относящиеся к Христу слова.

Это не просто восхваление, не просто религиозная хвала Господу, а попытка, сыновняя попытка разгадать таинство Рождества. Когда именно на Земле и именно в человеческом ипостасном осуществлении Бог видит спасение бытия. Это подлинно христианское, запечатлённое даже в религиозном осмыслении Троицы и в том, как Данте пытался её разгадать, решая квадратуру круга и пытаясь постигнуть, как круг и человеческий образ соединились. Как родилась вторая ипостась, как она рождается. Такой Троицы нет в других религиях и в других конфессиях. И вот если бы христианская конфессия, не только соблюдая традиции, а восприняв необычайный, парадоксально, божественно новаторский смысл Рождества, осознала бы назначение Земли, назначение человека и его сыновнее родство с Господом. Независимо от того, как понимать образ создателя мира – он ли явился прежде и был прежде, даже не в бытии ещё, а в том добытийном мире, в котором он создал бытие; или он осознаёт себя в бытийном опыте, и прежде всего в опыте человеческом и земном. Как бы мы ни понимали Бога – как бывшего до времени, в добытийном состоянии, или как существующего, но еще не родившегося и рождающегося в земном опыте. Как бы мы его ни понимали, всё равно – все духовные силы будут соотнесены с материальными и земными. Эта соотнесённость подобна ипостасному соотношению души и тела, союза души и тела, душ и тел, о котором размышляли накануне Рождества. Если бы такое религиозное богочитание осуществлялось бы в рождественскую ночь, и люди поднялись бы до него, может быть, это был бы какой-то шаг спасения.

О спасении надо не только молить, его нужно осуществлять действием, словом, мыслью, силой и действием. Тем особым состоянием, которое

связано с рождением, человеческим рождением истины на Земле. С тем, что Гете называл вечной женственностью. Вечная женственность неотделима от этого божественного акта Рождества. Когда мы говорим о вечной женственности, повторяя Гете, мы говорим о Рождестве. О вечном Рождестве, о продолжающемся Рождестве. Бог есть, но он ещё не родился – допустим такую версию. Но этот процесс рождения осуществляется у нас на глазах, нашими силами, в наших мыслях и чувствах. И как важно понять, что грешные, по сыновнему несовершенные, неточные, но устремленные к истине искания, мысли – это попытка Бога себя осознать в нас. И попытка далеко не совершенная. И несовершенство этой попытки мы должны осознавать религиозно. Не должны, а можем осознавать религиозно. Как опыт самого Бога, осуществляемый в нас и нашими усилиями, нашими попытками сознания. Разумеется, это может быть рассмотрено как некая ересь, с точки зрения фарисейского следования канонам. Но ведь чудо Рождества и смысл рождения Христа не в том, чтобы только соблюдать канон. Его нужно соблюдать, но нельзя ограничивать себя только этим актом хвалебного, по отношению к Богу, соблюдения. Здесь нужно и нечто другое. Тогда канон будет одной из составляющих ипостасного взаимодействия небесного и земного. И тогда по-настоящему откроется смысл Рождества и смысл сыновнего существования человека. И тот величайший необъятный смысл взаимопереходности человеческого и божеского, осуществленного в Христе. В его рождении и в его Рождестве. Я очень рад, что я поразмышлял об этом по следам торжественный и благоговейный Рождественской ночи, по следам того, как это было озарено и согрето песнопениями литургий в различных храмах. И чувствуя необходимость более полного сыновнего отклика на это спасительное для бытия чудо.

Так по-своему поняв чудо Рождества и некую ограниченность ритуалов празднования по поводу этого чуда, я для себя понял и то особое чувство щемящей боли, какой-то даже тоски. Во всяком случае, глубокой, неутолимой и невыносимой печали, которая охватывает душу, когда чувствуешь, что подступает конец ипостаси. Её начало, Рождество, исполнено несказанного человеческого счастья, тёплого, любовного, трепетно бережного и одухотворенного. Одухотворенного величайшим божественным смыслом, которое возникает при виде рожденного младенца. В моей поэме «Младенец» я что-то пытался передать. Меня не отталкивал, как Льва

Толстого, образ этого красного комочка, кричащего и не рассуждающего. И заявляющего таким не рассуждающим криком о своём явлении в мир. Я чрезвычайно любил и люблю образ младенца. И он излучает для меня тот особый человеческий свет, смысл, тепло, правду. Это начало ипостаси, земного существования. А вот когда подходит конец ее, этой ипостаси, и постепенно начинает уходить то одно, то другое проявление человеческого бытия, то одна, то другая возможность осуществить своё бытие, душу охватывает несказанная горечь, даже страх. И как бы ни утешала меня моя ипостасная вера, эти горькие чувства перед концом ипостаси всё равно не оставят душу. Больше того, они даже ещё усилятся. Кажется, что человек не может вынести этого чувства. Но если младенец, явившись в мир, выносит то, что взрослый вынести не мог бы, если бы он при этом сохранил бы своё взрослое сознание и стал бы вдруг младенцем. Об этом уже приходилось нам говорить. Младенец может вынести это.

И мать, любовно смотрящая на младенца, воплощает всю красоту, всю прелесть небесную и земную, прелесть вечной женственности. И сама любовь предстаёт как молитвенный подступ к этой красоте, к святости этого подаренного людям переживания. И вот когда понемногу мы чувствуем, что многое бытийное уходит от нас, чувство это тоже нельзя вынести, но оно горькое, оно пугает душу, даже может погрузить её в отчаяние. И Христос на кресте своим последним восклицанием «Боже, Боже, зачем ты меня оставил» выражает это человеческое чувство. И тем не менее, оно, при всём болезненном, болящем в душе, горьком и страшном в своём проявлении, оно всё равно обещает иную ипостась.

Конец той, которую ты обжил, означает начало иной, которую ты не знаешь и которую ты должен встретить как младенец, пришедший в мир. Так осуществляется вечная женственность и вечное Рождество. Оно прерывно и ипостасно по отношению к себе самому. Видимо, в этом молитвенном обращении, святости этого переживания, при всей его боли, это молитвенное обращение может принести еще одну, пугающую, потому что она не пережита, радость. Всё бытие есть одна ипостась, может быть рассмотрено как единая ипостась, которая имеет начало, конец; и которая граничит с новой, неизвестной, не пережитой, немислимой и непредставимой ипостасью. Она будет, может быть, названа как-то иначе. Может быть, это будет не то, что мы называем сейчас бытием. Родится новое

слово для тех сознающих, которые на этой грани окажутся. А вообразить, что они будут переживать, своими глазами видя конец бытийной ипостаси – общей, универсальной, бытийной ипостаси, – вообразить это сейчас невозможно. Но нужно пытаться. И если бы я мог преодолеть эту грань и сохранить мой опыт сознания, памяти и сильного творчества, я бы решился это представить. Решился бы это воплотить в образах, насколько это удалось бы мне. Я вижу в этом смысл, радость преодоления. Ибо ипостасная боль на грани, за которой новая ипостась, несёт в себе эту радость. Её нужно уметь уловить, поймать в самом себе. Это то, что, мне кажется, недостаточно выражено в мировом искусстве и в искусстве слова. И так хорошо сознавать, что Слово придёт, когда Бог родится, когда Рождество, новое Рождество, состоится. И вся красота, и вся правда нынешнего, подаренного нам бытия, ипостасно перейдет в другую, не менее прекрасную, может быть, ещё более проникнутую божеским ожиданием духовно, сущностно, правду.

8 января 2020

Судьба социальности определяется не только тем, что Достоевский назвал в «Дневнике писателя» «животишки спасти». Когда голод, когда общее неустройство, война, другие катастрофические перемены, тогда коллективизм складывается естественно, но ненадолго. И как только немного становится полегче, и как только удаётся немножко обеспечить свое чисто биологическое существование, люди начинают расходиться по своим квартирам. Каждый в свой мир, каждый к своим заботам, к своей особой отдельной судьбе. Мне думается, что это пророческое наблюдение Достоевского подтверждает нашу идею ипостасности. Без ипостасного подхода к социальности невозможно понять и разрешить трагедию нашей революции. Вот это так называемое классовое сознание, борьба классов, вообще классовость говорит об изначальном в ипостасности – признании тождества как главного объединяющего начала. Но это лишь начальная стадия. Вторую стадию – разобщенности, разделенности на началах индивидуального и личностного противостояния всех всем, каждого всем остальным, – это то, что мы постепенно (и после двадцатых, и после тридцатых, и, конечно, во время Великой Отечественной войны) пережили и боялись, что это будет утрачено со временем.

Действительно, это сменилось постепенно, начиная с шестидесятых годов, процессом индивидуализации, личностного противостояния и, в общем, разобщенности и разрушения прежнего коллективизма. И напрасно было бы искусственно возвращать нас к эпохе тождества. Как таковая, как вырванная из системы ипостасности, она бессмысленна и она обречена. И Достоевский прав. Но как определенная стадия, как момент ипостасного соотношения между людьми, она лишь подтверждает неизбежность личностного и индивидуалистического расхождения, которая готовит потребность в эпохе взаимопереходности, которая увенчивает и скрепляет самый процесс ипостасного соотношения между людьми и в определённую эпоху. Разумеется, борьба за существование: сначала нужно быть сытым и одетым, а потом требовать от себя быть человеком. Кстати, это не во всём и не всегда верно. Вот эта первоначальная стадия обещает в витке спирали эпоху взаимопереходности, т.е. собственно ипостасности, и должна быть осознана как определенный этап. Может быть, разрушение такого наивного коллективизма или коллективизма, вызванного целиком потребностью выживать, «животишки спасать», как иронически, почти злобно, сформулировал Достоевский, что эта вот стадия, может быть, и означает, в эпоху её разрушения, весь замкнутый и неполный цикл ипостасного единения людей. Ведь есть же те, кто всегда остается в детстве. Чаще всего и всё человечество, вся планетарная история, мы – оказываемся в эпоху юности и никак не можем выбраться из неё и переживаем её парадоксы, тупики и абсурды. Некоторые люди так и умирают на этапе юности, несмотря на то, что годы требуют от них взросления, зрелости.

Может быть, так складывается история коллективизма и у нас в России? Нет, она складывается иначе. Потому что этот постепенный отход от эпохи тождества кончился сокрушительным распадом народа. Он не привел к завершающему и победоносному, более-менее стабильному итогу. Стабильность у нас есть, но все хоть немного мыслящие люди чувствуют, что это не может так продолжаться, даже если это будет продолжаться долго. У нас иногда это выражается в требованиях идеологии, возврата идеологии, внесения идеологического начала в Конституцию и так далее.

На самом деле, речь идет о неизбежности взросления, ипостасной эпохи зрелости. Как ни парадоксально, её неизбежность часто не переходит в реальность. Неизбежность остаётся лишь как возможность. И возможность,

которая не воплощена. Не осознав цикл ипостасного становления народа, люди так и не осознают возможность перехода к реальному взрослению. Но, во всяком случае, у нас ничего не получилось на стадии индивидуализации и распада, и даже личностного противостояния. Личности были, индивидуумом себя почувствовал почти каждый. И все видят: не получается. А вернуться к наивному коллективизму уже нельзя. В этом смысле история необратима. Значит, это катастрофическая, как многим кажется апокалиптическая стадия, требует перехода в новое качество – к эпохе ипостасного единения людей. Будет ли эта эпоха в реальности, осуществится ли она или нет – это другой вопрос. Но, во всяком случае, вызревает ожидание и воление к тому, чтобы такая эпоха пришла. Так вечный юноша на какой-то стадии возрастного своего существования чувствует необходимость повзрослеть, созреть духовно, стать, наконец, собою осуществленным, а не только стремящимся к тому, чтобы противопоставить идеал и реальность. Что характерно для эпохи юности. Должна наступить пора, когда идея реализуется, а реальность более гармонично соотносится с идеальными ожиданиями и требованиями всех и каждого.

Мне думается, что такая эпоха предчувствуется, и где-то мы на её пороге. И если это будет осознано, то, таким образом, все катастрофические апокалипсические переживаемые нами сюжеты нашей социальной истории будут понятны. И не будут производить на нас гнетущего впечатления и не будут лишать нас возможности и желания искать исхода и находить этот исход. На эту тему можно написать целую книгу. Тем более, я смотрю, никто не подходит к проблеме именно с этой стороны. Потому что сам принцип ипостасности в его полном проявлении, в неразрывности тождества, разграничения и взаимопереходности, не осознан даже отдельными, личностно определяющими себя, мыслящими мыслителями, политологами, историками. Это всё пока не осознаётся. Тем не менее, потребность в том, чтобы, наконец, это было осознано, не то что назревает, а просто назрела. И если моя ипостась немножечко даст мне внутри себя времени для жизни, для искания, просто для того, чтобы до конца додумать то, о чём я думаю всю жизнь, то я не только буду свидетелем, но, может быть, и поспособствую тому, чтобы зрелость, наконец, наступила не только в судьбе отдельного человека. Но и в целом. И народ совершенно по-новому осознал бы себя. Единство осознавших принцип ипостасности людей – это и есть желаемое

будущее. Оно возможно. Я почти физически чувствую его приближение. Для меня это особое, по-особому сильное доказательство правоты моей веры, моих предположений, моих ожиданий и моего разговора с самим собой.

11 января 2020

Вместо Противоречащего за этим круглым столом собираются ребята, ученики выпускного класса. Мои ученики. Каждый из них в течение года что-то пишет по теме, которую выбрал, и в своём жанре. Вот одна девочка пишет об утопическом социализме и думает написать рассказ. Он будет главным в работе – рассказ о жизни, своей жизни, в мире такого социализма. Впрочем, уже не утопического, ибо социализм реальность. Реальность, по которой ностальгируют. Реальность, которая вполне возможна как противодействие тому, вроде бы, естественному распаду, который мы наблюдаем сейчас вокруг. Этому расслоению и так далее, и так далее. Уже 70% россиян ностальгирует по прошлому, по Советскому Союзу, по Сталину даже. И вот за этим круглым столом ребята собираются, чтобы обсуждать то, что они пишут, и чтобы быть в курсе того, что пишет товарищ, для того, чтобы свободно обсуждать. И тому, кто пишет – это необходимо, это интересно. Они не те, кто не соглашается со мной. Они те, кто внимательно готовы слушать, учиться даже. Это удивительно. Потому что дети сейчас живут совсем своей особой жизнью и, вроде бы, автономно от взрослых. А тут готовность проследить за моей мыслью.

Интересно, что я на этих обсуждениях по пятницам ни разу по-настоящему не говорил о моей вере в ипостасность. Ну, как-то пришлось об этом мельком сказать. И можно было бы, и они готовы были бы это слушать. И всю мою исповедь, всю мою диктофонную книгу так или иначе принять к сведению, так скажем. Они готовы. Но я не настаиваю, я ничего не навязываю. И в этот разговор с самим собою их не ввожу. И всё-таки они чувствуют, что такой разговору у меня с самим собой идёт. И видимо, интерес к нему, к этому разговору, тем больше, чем меньше они о нём знают. Они по каким-то признакам чувствуют, по каким-то оговоркам моим вполне клонируют мою веру. Ребята сейчас такие. То, что творится вокруг, они чувствуют. Оно не отвечает человеческой природе. То, что творится – болезнь существования. А существование – это ипостась. Когда нарушается

закон ипостасности, тогда болезнь роста, болезнь развития может, как у нас любят сейчас говорить, стабилизироваться, задержаться надолго. Но они, эти мои ребята, которых я стараюсь осторожно, ничего им не навязывая, посвятить в мировой опыт искания правды, искания счастливого, а не просто благоразумного жизнеустройства. Те, кто ищет смысла жизни,- это всё им сейчас открыто. И вот те, кто ко мне приходят, отличаются особой готовностью погружаться в эти попытки выразить себя.

И вроде бы, они становятся интересны друг другу именно в этом деле словесного самораскрытия, которое на бумаге обретает особую силу. «На белую страницу строчка ляжет, и вашу мысль увидят и прочтут». Такой Шекспир им понятен. То, что сказано, улетает. То, что записано, уже адресовано большому времени, если не вечности, и поэтому приобретает какую-то свою особую силу и власть – и над тем, кто написал, и над тем, кто прочтет. И вот перед ними, перед этими моими рыцарями этого круглого стола, встает проблема свободы, проблема возможности будущего. И проблема эта встаёт в том 20 году, високосном, о котором предсказывают, что он будет началом всеземной катастрофы. И, так или иначе, то, что излучает телевидение, о чём мы уже говорили, им становится известно. И то, что они хотят написать, они уже ниоткуда не перекачивают. Потому что они знают, что это нельзя перекачать. Нужно что-то почерпнуть в себе самом.

Когда они уходят, они благодарят, они как-то по-молодому весело, вроде бы, даже беззаботно, возвращаются в свой мир, побывав в том, который особенно всю жизнь близок мне. В этом мире они побывают, обычно бывают совершенно естественно, сдерживая свою молодую веселость, внимательно вслушиваясь в то, что им открывается и в то, что они в себе самих открывают. Оглядываясь на жизнь мою, я признаю, я должен признать, что такие встречи с учениками у меня всегда. И в молодости моей, и в зрелые годы, и сейчас. Так почему же я всё-таки не посвящаю их вполне в мою веру, в этот мой разговор с самим собою? Почему он остается в какой-то мере моей тайной, моим интимным собеседованием с собою-ипостасью? Что же, получается, что временами, вместо Противоречащего, и, вспоминая об этих прекрасных ребятах, в ожидании пятницы, когда они ко мне опять придут на занятия, я всматриваюсь в себя самого себя, в себя – ипостась себя самого. И эта ипостась подсказывает мне: «Откройся. Пора этот твой особый интимный разговор делать открыто. Пора тебе перевести в состояние

записанного то, что сказано. Это тебе предстоит и предстоит в этом високосном году. Так почему же ты вчера, когда они сидели за этим столом, не обрушил на них свою проповедь?»

Я думаю, что я всё-таки прав. Не надо было этого делать. То, что недосказано, они чувствуют. И они чувствуют, что я не скрываю от них, а сдерживаю себя. С тем, чтобы оставить их свободными в их поисках того, что я тоже искал всю свою жизнь. И искал вместе с моими учениками – и школьниками, и студентами. И вот теперь уже – с молодыми и пожилыми писателями. Всю жизнь я это искал. Пусть и они выйдут на путь таких исканий. И пусть при этом поблагодарят меня за то, что я не сковывал их готовым, казалось бы, для них, а на самом деле, рождённым такой трудной жизнью учением об ипостасности. Вообще мне кажется, что любая мысль, если она чего-то стоит, так или иначе становится известна, коль скоро она родилась. И чем меньше её произносят вслух, эту мысль, внушают, настаивают на ней, тем больше она мгновенно рождается сама. Во многих и многих сознаниях. Таков тоже закон ипостасности. Вот почему грусть, которая охватила меня после вчерашней встречи, перекрытая радостью при виде их молодости, их готовности открывать в себе эту ипостасную возможность, готовности, которая выражается и в том, что они прямо, словесно или даже бессловесно меня благодарят, расставаясь после каждой такой встречи, и готовы вновь и вновь встречаться.

Эта радость перекрывает печаль. Она ещё и ещё одно подтверждение правды моего ипостасного верования. Правды во многом горькой, коль скоро приходится расставаться с тем, что полюбил. И правды неохватно радостной, потому что чувствуешь: то, во что верил, то, что продолжает питать твою веру, неотменимо. Так или иначе неизбежно. И нужно очень точно и ненавязчиво приоткрывать свою веру. Пока я это делаю в разговоре с самим собою, всё получается. А вдруг всё это окажется ненастоящим, как только перейдёт на бумагу, как только «на белую страницу строчка ляжет»? Ну что ж, посмотрим. Я готов. И даже тот утопический социализм, о котором пишет девочка, она начинает понимать по-особому. Разумеется, вместе со мной. Кое-что удастся сказать. Утопическое это не то, что не существует; это то, что вполне может существовать, но мы пока не нашли верных и точных путей к тому, что вполне отвечало бы человеческой ипостасной природе. Мы не нашли ещё пока этих путей. И поиск этот самый сложный, требующий

сосредоточения всех возможных и невозможных человеческих сил. И круглый стол, и наши встречи, наше благодарное любование друг другом – залог возможных, тихих, как уже мне приходилось говорить, откровений, ради которых стоит жить.

12 января 2020

После занятия с ребятами о государстве, о социализме, в котором девочка хотела бы жить, при котором она хотела бы жить. Вернее, не она, а её героиня. Героиня её рассказа. Как-то раньше я не соотносил идею государства и вот учение об ипостасности. Хотя, когда ещё я руководил кафедрой в Герценовском университете, на разных конференциях мне приходилось говорить (тогда это вполне было обсуждаемо) о том, что неправильно совершаются у нас социальные метаморфозы. И распад Советского Союза тоже совершался не так, как возможны были бы настоящие, продвигающие в будущее изменения. Ведь опыт Советского Союза замечателен тем, что внутри него, а он был союзом неких государств, республик, национальных и прочих государственного типа объединений, внутри Союза были сняты границы между составляющими его частями. И поэтому вовсе никем не выдуманно, не выдуманно, на самом деле существовала, возникла общность «советский народ». И опыт такого снятия границ, прозрачности, переходности между границами, конечно, не прошел даром для всемирной истории. Не мог пройти даром. По крайней мере, Европейский союз создан по следам Советского Союза. И вот нужно было не разрушать Советский Союз, а пытаться вместе с политиками, деятелями, лидерами других государств, тех же государств Европы, снять границу внешнюю Советского Союза и зарубежных образований. Внутри границы уже были сняты, а снять внешнюю границу можно было только общими усилиями советских и не советских политиков.

Задача сверхсложная, фантастическая почти, как оказалось. Но опыт Европейского союза как бы подтверждал возможность таких метаморфоз. Был момент, когда, по крайней мере, можно было попробовать поработать на эту идею. И это был бы опыт снятия самого статуса государства. А такой процесс снятия государственных ограничений и того насилия, которое несёт в себе любое государство, был созвучен идее коммунизма, которая учила о

том, что государство в будущем отомрет. И мы перейдем из царства необходимости, которое непременно воплощалось в государственных системах, в царство свободы, где государство уже будет не так неизбежно. Надо было снять внешние границы, провозгласить, во всяком случае, такую возможность, попытаться поработать на эту идею. И при этом, разумеется, предусмотреть все опасности, какие возникают на этом пути. Может быть, даже прийти к горькому выводу о том, что это идея совершенно невозможна к воплощению. Что государственные образования неизбежны. И что эпоха насилия неодолима. Ведь попытки всё же преодолеть те ограничения, которые налагает государственная система, были и тогда, когда создавались империи, охватывающие чуть ли не все страны обзримого в те времена мира. И замыслы новых империй, скажем, наполеоновской, тоже несли в себе некую освободительную силу. Тем не менее, именно империи порождали такое море крови, такие насилия, что, казалось бы, этот опыт создания столь больших объединений государственного характера скорее свидетельствовал о ложном пути преодоления ограничений, налагаемых государственными границами и законами.

Я всегда как-то инстинктивно отодвигал попытки назвать Советский Союз империей. Здесь после революции, отношение к которой сегодня столь полярны и непримиримы по отношению друг к другу, после революции создалось некое проверенное историей, и гражданской войной, и Великой Отечественной, единство. Которое, в общем, надо сказать, состоялось. Оно было разрушено, и разрушение это, в какой-то мере искусственное, продолжается и сейчас. А это значит – тот опыт единения, объединения путем снятия внутренних государственных границ продолжает существовать. Больше того, мы живы благодаря тому, что то единство ещё живёт. Поэтому вряд ли речь идет об империи. Хотя Советский Союз напоминал об империях самыми разными особенностями и признаками. Которые, впрочем, присущи любому сильному государству. Итак, вот снятие внешних границ не состоялось. Оказалось, что между Евросоюзом и бывшим Союзом Советским – вражда, несогласованность. Та, которая возникает как несогласованность и вражда между государствами. А сами государства есть признак того, что война идёт. Правда, война позиционная, не обязательно сопровождаемая военными действиями. Но Лев Толстой правильно формулировал о том, что государство может делать многое – и в области просвещения, и покорения

природы, и так далее и так далее. Но есть то, чего оно не может не делать. Оно не может не наращивать силу вооружений, потому что государство – это война. Он здесь был прав. Но с позиции своего христианского учения он отвергал государство. В то время как каноническое христианство скорее благословляет и освящает государственные возможности и перспективы. В том числе и способность силой утвердить свой статус в мире. Так вот социализм утопический, не утопический опыт Советского Союза, вроде бы, утверждает незыблемость принципа войны в мире.

Островки утопического социализма в XIX веке не могли быть успешны, потому что социализм был окружён враждебной ему социальностью и не выдерживал с ней конкуренции. В XX веке социализм потребовал столько крови, столько насилия для своего утверждения. И всё равно, он воспринимался как некая переходная стадия того единства, которое называли тогда коммунизмом. И в 60-е годы. Во всяком случае, когда коммунизм стал задачей, практически разрешаемой, сама идея коммунизма была вписана в программу партии коммунистической: «нынешние поколения будут жить при коммунизме». Тогда всерьёз обсуждался вопрос о снятии государственных ограничений внутри, разумеется, внутри Советского Союза. И нельзя, наверное, всё-таки сказать, что этот опыт был во всех отношениях безуспешным. Попытки в частности, деталях, снять государственный контроль с расчётом на сознательность всех участников этого процесса, на возрастающую в условиях Советского Союза свободу в раскрытии личности, эти попытки, это стремление понемножку снимать государство, преодолевать его и тем самым приближать эпоху коммунизма, при всех своих несостоятельности, несли в себе и некоторые завоевания в опыте. И я думаю, что опыт этот всё-таки к себе будет возвращать. Потому что идея преодоления государства на началах свободы никогда не умрёт. Какой бы горький опыт мы ни произвели, какой отрицательный опыт мы бы ни осуществили в недавнем прошлом. И вот тут идея ипостасности оказывается важной и живой.

Я жалею, что я не сказал ребятам об этом позавчера, на занятии. Правда, когда мы вспоминали о «Сне смешного человека» Достоевского, прозвучала такая мысль о том, что, отрицая утопический социализм как некую идею, вышедшую из математической головы, Достоевский прорвался в далекое будущее. Тот самый сон, который видел смешной человек, до того,

как он развратил тех инопланетян, среди которых он оказался, принеся туда бациллу нашего земного горького опыта, это был, по сути, прорыв в коммунизм. Хотя у Достоевского это выглядело совсем иначе. История была повернута как бы вспять. Если коммунистическое учение предполагало, что социализм это и государство нового типа, это переходная стадия в царство свободы, то у Достоевского в «Сне смешного человека» – наоборот. Царство свободы оказалось разрушенным, как только туда был занесён этот вирус. Гнусной петербургской жизни. Вирус этот был признан, и его полюбили и приняли инопланетяне в «Сне смешного человека». Вот почему он, проснувшись, остаётся жить с тем, чтобы совершить обратный переход. Уже на Земле. Если там, рассуждал он или мог рассуждать, если там я один погубил всех, может быть, здесь я один всех спасу. Пусть узнают от меня, как жили люди до грехопадения. А я это видел во сне. Несмотря на то, что это был сон, я видел правду – естественное состояние жизни людей. Пусть наши земляне узнают об этом моем сне и захотят так жить. И если все захотят, это мгновенно устроится. Относись к другим, как ты хотел, чтобы относились к тебе, и всё. В два часа всё устроится. Это, как бы в фантастических степенях, истолкованная смешным человеком история. По сравнению с той моделью, которую выработала коммунистическая мысль, вобравшая в себя опыт и утопического социализма. Но чувствуется везде отсутствие, отсутствие осознанного приятия и понимания, даже отсутствие осознания идеи ипостасности.

Ибо естественное состояние человека предполагает это противоречивое единство – индивидуальность, личность, ипостась. Они составляют органику человека, как мы уже говорили. И вместе с тем, органику, внутренне, до предела, до абсурда взорванную противоречием между индивидуальным и личностным, между индивидуальным личностным и ипостасным. И, тем не менее, всё равно вера в ипостасную природу человека как высшее проявление единства, возможности единства между людьми, эта вера ещё имеет будущее. Чем больше я размышляю, чем больше я разговариваю сам с собою, повторяя как элементарные, примитивно даже элементарные истины, то, что приходилось обдумывать и добывать в спорах, размышлениях, и то, что всё же не было записано, не было по-настоящему словесно сформулировано, всё это убеждает меня в том, что вера моя нарастает. Она становится все более и более естественной

и неколебимой. Я сам был тем Противоречащим себе на занятии с ребятами, какой во мне оживает взамен того Противоречащего, который незримо сидит напротив меня за этим круглым столом. Но моё противоречие самому себе невольно слабеет. Тот Противоречащий молчит и выжидает. А мой внутренний голос, которому я даю полную возможность высказаться, этот голос постепенно и с каким-то добрым чувством, уступает моей вере. Как бы об этом написать точно, убедительно? Ну, может быть, так убедительно, как, мне кажется порою, получилась моя «Страшная сказка». Последнее из того, что я написал. Там ведь нет выдумок. Там есть погружение в то, что, действительно, было. Но это не документальная притча. Это именно попытка погрузиться в то, что было. И погружение ещё далеко не состоялось. Но какие-то первые шаги к такому, вновь рождающему сознание погружению я всё-таки, может быть, сделал? Вчера я читал, перечитывал за компьютером тот эпизод из этой сказки, где герой её, ещё отрок 11 -12 летний, пытается с этой совершенно особенной, по-особому сверхчеловечески любящему существу сказать о своём ощущении Бога, высказать ему свое исповедание веры. Это плохо, конечно, то, что я перестаю быть беспощадным критиком самого себя. Но меня убедили некоторые страницы этого эпизода моей «Страшной сказки». Значит, несмотря на то, что зрение моё остаётся затрудненным, понемногу оно улучшается, но продолжает быть мучительно неполным, несмотря на это своё недомогание, я ещё, может быть, обречен для самого себя и, может быть, ещё успею кое-что сказать об этой спасительной вере в ипостасность. Она приоткрывает уже сейчас для меня некие новые пути осмысления фантастически возможного будущего.

... Кошка в моей «Страшной сказке» – ипостась человека. Герой – одиннадцатилетний мальчик, но уже по-взрослому понимавший многое. Да, пока она была с ним, была возможность счастливой судьбы. А когда он её предал, начались все его будущие бедствия. Он не осознаёт, что эта особая кошка была ипостасью его. Но в ещё большей мере не осознаёт, как важно быть ипостасью самого себя человеку. Это не раздвоение личности, а это тот внутренний разговор, который идёт между индивидуальностью, личностью и собственно ипостасью. Очень важно понять ипостасность индивидуальности, ипостасность личности и ипостасность взаимопереходности. И ипостасность их соотношений, этих начал. Их противоборства, острейшего противоборства и их возможной гармонии. Сначала важно это понять и об этом рассказать, а

потом уж можно этот смешной сон предложить другим – детям, взрослым. Кто поверит в этот сон, тот будет готов к фантастическому будущему, о котором я только что сказал себе самому. Противоречащий – тоже ипостась, но Противоречащий враждебен самому принципу так понимаемой человеческой природы. Это ипостась, отрицающая в себе возможность быть ипостасью тому, кому он, Противоречащий, противостоит. Вот очень важно иметь перед собою самого себя, который в полной мере осознает себя твоей ипостасью. Как важно этому научиться. Я знаю, что это возможно. Я знаю – это спасительно. И это, если о нём хорошо рассказать, может быть спасительно и для других людей. Я попытаюсь так писать. Знаю – не получится. Но это, как сказал Ганди, моё личное поражение – не поражение идеи. Дай Бог, чтобы это бы не было поражением веры. Тогда опасность поражения будет отменена силой преодоления.

13 января 2020

«Во всём подслушать жизнь стремясь, /Спешат явления обездушить. /Забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, /То дальше нечего и слушать». Это слова Мефистофеля. Так он пытается что-то объяснить молодому студенту. И до этого сказано: «но даже генезис узнав таинственного мироздания и вещества живой состав, живой не создадите ткани». Мефистофель понимает, прекрасно понимает, вместе с Гете, что диалектику можно истолковывать сугубо механистически. Вот есть противоположности, они находятся в единстве и в борьбе. Но каким образом они оказались в единстве? Какая сила движения их свела вместе и сделала невозможными друг без друга? И выразилась в борьбе этих противоположностей? И что рождается в итоге – ещё одна противоположность для следующей триады? Иными словами, эта формула говорит лишь о столкновении противоположных начал. Заявляет о том, что они, будучи неотрывны друг от друга, борются друг с другом и порождают что-то новое. Но принципиального обоснования того, что этот процесс происходит, обязательно должен произойти, нет. Можно собрать некие противоположности, положить их вот на этом столе, очень тесно сдвинуть друг с другом, но не получится ни единства, ни борьбы, ни рождения новых

начал, которые будут противоположности в очередной, повторим, диалектической триаде: тезис – антитезис – синтез.

Иными словами, здесь не хватает самого главного – то, что может внести религиозное представление о единстве, о борьбе и о том, как это единство и борьба разрешаются во взаимопереходность. При этом, разумеется, рождается новое. Но это новое непостижимо родственно тому, что ему предшествовало. Итак, диалектика это важнейший шаг к принятию и осознанию ипостасности как некоего принципа. И, тем не менее, самой ипостасности в чисто механистическом подходе к диалектическому единству и диалектическому процессу самодвижения – нет. Необходим опять же принцип ипостасности, связующий всё воедино: и тождество, и борьбу противоположностей, и взаимопереходность, порождающую новое начало, новое качество. Чисто философского объяснения недостаточно. Необходимо религиозное, проверяемое художественным испытанием, формулой. Вот это чрезвычайно важно для меня осознать, потому что тогда само представление о диалектике изменится, удержав то ценное и даже гениальное, что было добыто философией. И повторим, гегелевская диалектика, заявленная в науке – логике, выстроена по аналогии с человеческой мыслью, с внутренней диалектикой развития идеи. Когда тезис порождает антитезис, а их единство и борьба рождает синтез. Но, таким образом, Гегелю не нужно было обосновывать причины движения и самодвижения в диалектическом процессе. Уподобление человеческой мысли, когда мысль есть продукт человеческой деятельности, продукт того деяния, которое было в начале – вот это для объяснения того, почему мысль живёт, идея развивается, достаточно и вместе с тем недостаточно.

Нужно понять, что движет в человеческом сознании, как происходит оно, как оно порождается в качестве особой формы движения, особой формы существования, уже не материальной, а духовной. Это совсем другой вопрос. Гегелю это, вроде бы, не нужно, поскольку он утверждает в качестве начала всех начал даже не слово, а мысль. В начале была мысль. Потом является её отрицание, потом является нечто третье, которое тоже оказывается тезисом. У него это, вроде бы, просто. Но такого рода объективный идеализм вряд ли сегодня удовлетворит сознание и самопознание человека. И вот почему собственно философское

столкновение противоположностей, как Достоевский выразился, – столкновение лбами, ещё не породит жизни и самодвижения.

Тогда как принцип ипостасности изначально указывает на непостижимую или постигаемую лишь религиозной интуицией, религиозной верой, силу единства. Вот этот принцип ипостасности, если не объясняет, он и не может объяснить, по крайней мере, методологически ориентирует сознание. Указует на его многообразие, на его религиозное проявление, на его религиозную ипостась которая требует особого отношения. Эта религиозная ипостась, утверждающая ипостасность как принцип, может получить научное объяснение – по мере совершения тех открытий, проникновений, которые человеческая мысль и человеческий опыт ещё осуществит. Может быть удостоверена художественным испытанием – когда человек будет в состоянии сотворить во всей органической правде жизненность, образ, живой, равноценный, равнозначный природному и психологическому, и социальному жизненному началу. Это всё будет проверяться, уточняться, объясняться. Но религиозное понимание принципа ипостасности предупреждает: вопрос никогда не будет исчерпан. И поэтому духовная природа человека останется сыновней, будучи, вместе с тем, божественной и даже божеской. Допустим, Бог пытается осознать самого себя в нашем духовном опыте, с помощью нашего духовного опыта. Но таким образом он сам, перед самим собою, предстанет как некое сыновнее начало перед неосознанным отцовским началом и чисто духовным осуществлением этого ипостасного единства и противопоставления. Мысль, которую мы высказывали о том, что человеку чрезвычайно важно иметь перед собой свою ипостась и самому быть сыновней ипостасью тому, что его ипостасное сознание порождает – как отражение тебя самого и как ориентир в твоём самодвижении.

Здесь еще очень многое нужно осмыслить, обдумать. Но, во всяком случае, ипостасный принцип, примененный к диалектике, – это некий шаг вперед. Это то, что ещё обнаружит свой потенциал, и то, что поможет более точно представить себе всё, что идеализм в гегелевской системе выстраивал как законченную систему. Всё это будет переосмыслено. Материализм пытался это сделать. Здесь тоже были свои достижения, свои успехи, очень важные поправки в споре с идеалистической версией. Но и к материалистической версии требуются, как мы видели, самые существенные

поправки, самые изначальные. «В начале было слово, – мог бы сказать Гегель, по-своему истолковывая Евангелие, или – в начале была мысль», как мог сформулировать он же. «Нет, в начале была сила», – как истолкует материалист, не объясняя, откуда взялась эта сила, почему она живая. «В начале было дело», – это ещё один шаг отступления от попытки обнаружить самые первоначальные силы, из которых складывается живое бытие. Ибо деяние это всё же некий результат, результат единства и борьбы живых сил, которые потому и составляют единство и ведут к взаимопереходности, что они ипостасны. Ну что ж, Мефистофеля можно понять, можно принять его правдивое, точное наблюдение по поводу человеческих попыток, не вполне учитывающих сущность того, что человек хочет познать. «Во всём подслушать жизнь стремясь, спешат явления обездушить, забыв, что, если в них нарушить одушевляющую связь, то дальше нечего и слушать». Принцип ипостасности не даёт возможности нарушить одушевляющую связь явлений. А одушевляющая связь это и есть ипостасность, которая соединяет всю систему в некое живое, самодвижущееся, саморождающееся целое. Целое это никогда не будет познано до конца ни человеком, ни Богом. Разве только Богом самим, если он персонально – в начале даже не того, что существует, а того, что, порожденное им, предназначено существовать. Ну вот пока некоторые такие добавления. Но я предвижу, что вся система применения диалектического принципа, понятого ипостасно, ещё откроет новые и новые истолкования явлений, которые не обездущены. Даже если это явления связаны не только с сознанием человеческим, не только с миром фауны и флоры, но даже, казалось бы, с неподвижным царством минералов, где движение не осуществляется и незаметно. Везде оно есть, везде оно ипостасно. И сознание этого чуда позволит многое уточнить и в нравственности, и в понимании истории прошлого, и в предощущении будущего.

14 января 2020

Мы говорим о тайне тайн. А ведь на самом деле нам всё открыто. Другое дело, открытое невозможно понять и объяснить. Это непосредственная встреча с самим Богом, с тем, каков он есть, как бы мы его ни понимали. Ведь на самом деле Бог, как некое особое сознающее и

творящее лицо, персонализированный Бог, и Бог, как самосотворение бытия и небытия, – это наши дефиниции, это наши человеческие попытки объяснить. Да и сам глагол «объяснить» очень точный. Это попытка сделать ясным то, что неясно, то, что по природе не может быть ясно; заменить или подменить даже чем-то более ясным другим. То, что остаётся открытым, но недоступным для понимания, мы хотим невольно сделать чем-то другим, доступным нашему сознанию. Таким образом, хотим подменить объект, на который обращены наши вопросы, наше недоумение, наше восхищение, наш страх. Всё то, что должно возникать в сознающей себя душе при встрече с первоначалом. Будь то слово, будь то мысль, сила или деяние.

Я вспоминаю очень живо тех, кто был мне особенно близок в жизни: отца, мать, дядюшку моего – большого художника Самохвалова, друга моего большого, настоящего поэта Ювана Шесталова и других. Тех, кто признавал себя, видел меня, чувствовал приближение конца и был совершенно несовместим своим сознанием с возможностью и неизбежностью исчезновения. Ну, вот они исчезли. И я с моей верой в ипостасность должен был бы искать, где ипостась Самохвалова, где ипостась Шесталова, где ипостаси моих родных, тех, кто дал мне жизнь. Почему я этого не делаю? Ведь все это имеет прямое отношение ко мне. Но для меня, якобы бы, это тайна тайн. А вот её раскрытие передо мной – в судьбах этих близких мне людей, которые исчезли и ипостаси которых я не могу обнаружить рядом с собой, вглядываясь в мир, с которым невольно приходится прощаться и мне. Почему же я этого не делаю? Неужели я ощущаю себя ипостасью этих милых, близких мне кровно, душевно, запредельно близких мне людей и их сознаний? Неужели я и есть эта ипостась? Но если так, то и я разделю с ними их судьбу. Что-то здесь есть действительно таинственное. Какая-то тайна тайн всё равно существует. Во всяком случае, это то, что никак нельзя объяснить, то есть подменить чем-то доступным пониманию, измеримым человеческой меркой ясностью. Это остаётся и останется непроясненным. И нужно это принимать в том непроясненном состоянии, в каком ты это осознаешь. И вот я всматриваюсь, вдумываюсь, погружаюсь в это моё осознание. В какой-то мере я и в самом деле, по своей собственной вере, должен быть ипостасью этих людей. Я всматриваюсь, вдумываюсь, погружаюсь в себя. И как зрение, которое удается сфокусировать, начинает видеть цифры, буквы, черты, так и мне кажется, что нечто удаётся зачерпнуть

из этого непознанного и непознаваемого, необъясняемого существования вокруг меня и во мне самом. И опять невольно приходишь к мысли об ипостасном пресуществлении.

О том, что это уловимо и по возможности всё равно открыто тебе. И не только близкие люди, которые никак не могли смириться с тем, что их не будет, но и сам персонифицированный Бог оказывается для меня таким же. Здесь самое понятие ипостасности это единственная возможность, не проясняя, не делая более ясным, принять и вобрать в себя эту якобы тайну тайн. Она открыта. Больше того, она даже доступна тому, кто исповедует мою веру. Но пока эту веру, вроде бы, исповедую только я один. А ведь мне приходилось говорить об этом и с моим дядюшкой, великим художником, и с Шесталовым, исповедником и проповедником космического, планетарного сознания, сознания природы, и с моим отцом, с кем я не успел поговорить, который мне иногда снится как живой, только уснувший после работы. Вот наша старая квартира, где мы жили, и где была одна комната его мастерской, вот солдатская кровать. И вот он спит на ней, и я жду, когда он проснётся, с тем чтобы возобновить или начать с ним тот разговор, который я при его жизни не успел начать с ним. И вот моя мама, которой не могу сказать ни слова, потому что все слова это ничто по сравнению с тем чувством, которое я испытываю к ней. Это и не слово, это и не мысль, это и не сила, это и не деяние. Это и не вечная женственность Гете. Это то явленное мне знание, которое есть моё сознание. Оно мне подарено вместе с жизнью. И вот только его можно прояснять. И в течение жизни я, оказывается, и прояснял его. Мы знаем только то, что мы осознаем или то, что мы создаем. Но мы знаем то, что нам дано вместе с жизнью и что значительно больше, чем все другие попытки знать и прояснять. Ну так что же, есть или нет? – эти душевные, кровно близкие мне ипостаси рядом со мной и вокруг меня. Почему я до сих пор их не обнаружил и почему я чувствую, что я должен всматриваться во всё сущее вокруг и во мне самом бытие, чтобы, наконец, увидеть ускользающие черты и вернуть к существованию то, что исчезло. Вернуть, пока я есть. Хотя я знаю, что после того, как меня не будет, мою ипостась никто не будет возвращать так, как я пытаюсь это сделать. Живо воскрешая перед собой милых и близких мне людей, которые всем бытием своим, всем существом своим отрицали смерть и должны были перейти в своё новое ипостасное бытие.

15 января 2020

Как вообразить сознание Бога перед тем, как он сотворил бытие? Многие в природе подсказывает человеку это прозрение, это приоткровение. Вот я только что вернулся из небытия. Ночь промелькнула как одно мгновение, не было снов. И вот я вновь почувствовал себя. И так ничего и не запомнил. А Бог, каким бы он ни был, может быть, самой природой, может быть, особым сознанием, которое предваряло природу. Бог всё должен помнить и, наверно, помнит вот этот бессонный опыт во сне. И потом делает какое-то творческое движение и превращает этот опыт в бытие сотворенное. Очень трудно и очень легко это вообразить. И, наверно, когда удаётся хоть отчасти, хоть в каком-то приближении, хоть намеком, хоть просто предчувствием явить самому себе это предбытийное начало, если это в самом деле удаётся, то это и можно назвать молитвой. Которую Господь, кем и каким бы он ни был, ждёт от нас. Но есть и то состояние человека, которое приоткрывает эту, казалось бы, тайну, а на самом деле она открыта и вполне доступна каждому, это состояние – любовь. Причем, любовь именно творящая бытие, хотя бы одного человека. Где-то у меня было стихотворение, оно вошло в поэму «Миша», о том, что поцелуй любви и есть поцелуй, отданный подобию. Нет, даже не подобию, а не ушедшему от нас, телесному ощущению ушедшего, не уходящего сына. И она, та, кто отвечает мне поцелуем, трогает губами сходство моё с ним, сыном. И я как будто пытаюсь поймать, не вообразить только, а поймать мгновение первое его зачатия. Поймать, возобновить. И вот сын, который ушёл, вместе с нами творит это начало всех начал. Творит и разделяет с нами. И тайна эта вполне явлена, и она была в предчувствии рождения его в бытии. И она остаётся в этом состоянии после его бытия, которое не уходит и которое готово, казалось бы, молитвенно, любовно вновь и вновь сотворить. Наверно, нужно вот так молитвенно ощущать, чувствовать в себе то, к чему ты вернулся из этого подобия небытия, из этого сна без снов, из того, что не осталось в памяти и вне времени незаметно исчезло. И проснулось как продолжение моего бытия, как моя готовность любить. Быть может, и в самом деле бессмертная душа, отделившись от того, душой чего она была, даст возможность с этой неизмеримой высоты разглядеть и познать это небытийное, сонное, во сне и без снов, сущее подобие небытия. Разглядеть

его и победить его. Но такая бессмертная душа ипостасна бытию уже самой готовностью к тому, чтобы возобновить и вновь поймать мгновение первое его зачатия. Кто-то останавливает на полпути это сознание любви, кто-то недоговаривает то, что я сейчас, может быть, неосторожно пытался договорить. И таким образом он увеличивает радость жизни и отодвигает страх расставания с ней.

Вот мой дядюшка Самохвалов, певец радости жизни, воспринимавший жизнь как чудо и не пытавшийся это чудо объяснить. Его нельзя объяснить, его можно лишь воспеть, быть ему сопричастным. И это, как он сам определял, значило любить. Я как-то спросил его: что значит любить людей? И он ответил, даже не очень задумываясь: любить людей значит действовать в мире человеческих интересов. Предельно общо. Я сразу же бросился спорить. Но он остановил меня и сказал: «Ты поймёшь когда-нибудь. Не дай Бог, чтобы ты понял это вынужденно. Прими и пойми это так, как я – просто как радость жизни». Его женолюбие в искусстве я бы мог сопоставить с женолюбием Пушкина. Хотя, как пишет исследователь, Пушкин любил одну и любил ее после того, как она ушла из жизни. После этой страшной разлуки он продолжал её любить, как при жизни. Ну, и стихотворение «Если правда, что» – «Завещание», нет, «Заклинание» подтверждает:

О, если правда, что в ночи,
 Когда покоятся живые,
 И с неба лунные лучи
 Скользят на камни гробовые,
 О, если правда, что тогда
 Пустеют тихие могилы, —
 Я тень зову, я жду Леилы:
 Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
 Как ты была перед разлукой,
 Бледна, хладна, как зимний день,
 Искажена последней мукой.
 Приди, как дальная звезда,
 Как легкой звук иль дуновенье,
 Иль как ужасное виденье,

Мне все равно, сюда! сюда!..
 Зову тебя не для того,
 Чтоб укорять людей, чья злоба
 Убила друга моего,
 Иль чтоб изведать тайны гроба,
 Не для того, что иногда
 Сомнением мучусь... но, тоскуя,
 Хочу сказать, что все люблю я,
 Что все я твой: сюда, сюда!

Сказано определённо. Продолжал любить и после смерти, именно продолжал любить. Каждое мгновение, каждую такую сонную или бессонную ночь, возобновляя в себе то начало, то предначало, которое и есть раскрытая человеку тайна любви. Здесь тоже любовь как бы остановлена на полпути, здесь тоже что-то не договорено. Есть ли у Пушкина стихи о детях, о тех, которых сотворила его любовь? Нет, он недоговаривал. А вот после сегодняшней небытийной ночи, той ночи, из которой я ничего не запомнил и вдруг возник опять, я хочу договорить. Я хочу досказать то, что обычно недоговаривают. И сегодня, вот сейчас, чувство это мне доступно, охватывает меня всего. И я слышу голос сына, ещё не начавшего своё бытие. Я знаю, что голос этот возникает в том взаимно ответном порыве, который соединяет нас силой любви. Об этом еще очень многое нужно сказать. Но я счастлив тем, что могу так помолиться творцу и его сознанию, в его, Бога, предбытийном порыве.

17 января 2020

Вчера, на выставке «Дейнека / Самохвалов» в Манеже, куда меня пригласили, чтобы я рассказал о дяде Шуре, я попытался, рассказывая о нём, попытался говорить о творчестве, вспоминая о том, как он сам о нём говорил. Он как-то сказал: «Художник, если он хочет быть настоящим художником, не должен просто срисовывать то, что видит. В его образном творческом мире всё немножко не так, как в действительности. Потому что он выражает творческую силу реальности, а она всегда не равна себе. Она ипостасна себе самой. Всё немножко не так, именно потому – так. А тот, кто срисовывает, теряет реальность, уходит от действительности, потому что

удовлетворяется её тенью, её слепком. Не соревнуется с ней в творчестве, не обнаруживает эту заложенную в него, в человека, в творца, сыновнюю способность быть наравне с творческим началом природы, Бога. Это сыновняя способность. Но это попытка стать в некое паритетное соотношение. Это попытка сына быть сыном. Это попытка сына быть тем, о ком мечтает отец». Вот у дяди Шуры и были такие формулировки, когда он размышлял вслух о том, что такое искусство. Именно так можно понять его попытку с помощью пушкинских стихов из «Бориса Годунова» объяснить, что такое искусство. Он тогда пытался уподобить искусство науке: наука сокращает опыт быстротекущей жизни. Но тут же он и поправил себя: искусство увеличивает опыт, вмещая это увеличение в быстро текущую жизнь. И в том, и в другом случае мы успеваем больше, чем могли бы успеть за свои отмеренные природой и Богом годы. В одном случае, не повторяем уже не нужный опыт, сокращая его. А в другом случае, увеличивая нужный опыт и вмещая в свою быстро текущую жизнь то, что мы переживаем вместе с Гомером, Шекспиром, Толстым. И всё это переживаемое становится клеточками нашего личного опыта, переходит оттуда к нам. Совершается тот самый переход, который и есть настоящее чудо бытия.

И чудо это поручено художнику. Если он настоящий художник, он осуществляет это. Даже уже не просто одностороннее, а взаимопереходное, взаимопередающее от одного к другому опыт жизни, чудо. Жизнь и творение, и творение как таковое. Я довольно кратко и в какой-то общей связи попытался об этом сказать. Вроде бы, что-то получилось. Я видел по лицам. Но и по тому, как потом всё взорвалось какой-то правдой взаимопонимания. Стало понятно новаторство и преемственность художника. У дяди Шуры и то и другое было на равных, в ипостасном соотношении. Ему была близка архаическая античность, классическая античность Фидия, Поликлета, Лисиппа, Мирона. Конечно, роскошная художественная правда, новаторская по своей природе правда Ренессанса. И Рембрант, и Ватто, и Коро, и Сезанн, и Гоген, и Ван Гог, и ранний Пикассо, и Матисс, и Врубель. Как-то стало понятно, что нельзя просто уподоблять себя тому, что ты принимаешь ипостасно. Из мира, от другого творца. Надо это принимать тем особым сыновним чувством, той особой способностью, принимая в себя творческий опыт, смело, безудержно смело, но ипостасно по отношению к преемственности, говорить новое слово. «На чешуе

жестяной рыбы читать зовы новых губ» – дядя Шура любил эти строчки Маяковского.

Вот было такое ощущение, что это стало ясно всем. На выставке, где Самохвалов рядом с Дейнекой, в каком-то даже преимуществе перед ним, ибо он поверял социальность человеческой правдой, вот стало ясно, как, по крайней мере, нужно молиться этому чуду творчества. И почему оно неизбежно проявляется как ипостасное жизнетворение. А я ещё умудрился сказать о том, что бытие и небытие ипостасны. И, по-моему, люди чему-то обрадовались. Хотя среди них многие, как это сегодня получается, канонически верующие, православные. А, тем не менее, именно вот это учение об ипостасности, почерпнутое из глубин православия, объясняет многое и выводит за пределы только одного религиозного сознания. Религиозное сознание это ощущение своей сыновности, сын Божий. Но для того, чтобы быть сыном, нужно пытаться быть самим. Нужно пытаться очень определенно, не теряя свои сыновней близости с творцом, смело самому пробовать себя в творчестве, творить небывалое, ипостасно близкое тому, что уже сотворено и составляет суть, прелесть и чудо жизни. Да, вот как-то мелькнувший в своё время, промелькнувший разговор мой с дядей Шурой Самохваловым, казалось бы, не оставил следов в том, что он писал и о себе, о своем творческом пути. Ну, он не употреблял термин ипостасность, а по существу он говорил именно о ней.

И вчера для того, чтобы все почувствовали присутствие полвека тому назад ушедшего от нас настоящего художника, я попытался сказать именно об этом. О том, что люди знают, чувствуют в минуты соприкосновения с настоящим искусством. Но обычно молчат об этом, не решаются говорить и формулировать. Вот такая попытка, кажется, достигла цели. Может быть, даже не была осознана вполне, но волновала как некая нежданно подаренная радость общения, радость встречи. И то, что я пытался читать своё, было встречено хорошо и тоже ипостасно. Захотели иметь тексты, прочтенные вслух по памяти.

Это было первое такое у меня говорение на встрече со многими знакомыми и незнакомыми людьми, когда я черпал только из памяти. И знал, что именно там, в этой моей сегодняшней жизни, которая не только уходит, но и прибывает, когда я вспоминаю об этой способности к сыновнему соревнованию с Богом. Что вот когда я чувствую в себе это, как и

каждый человек может почувствовать это в себе, тогда я могу многое почерпнуть из себя самого. Из того, что было набрано в себя в течение всей жизни. И вдруг память прояснялась. И вдруг то, что иногда вдруг, именно вдруг, в памяти пропадает, в такие минуты вспоминается. Во всех подробностях, во всей жизненной ощутимости. Я понял, что непрочтенное мной вчера, и хорошо, что я его не прочитал, стихотворение «Из царства идеала сбегая в тот же день. Здесь тень моя пропала, не только светотень», я уже как-то говорил об этом стихотворении, читал его в нашем (моем!) разговоре с самим собой, что это стихотворение о смерти. И, кажется, оно о торжестве смерти. «Беги, спасенный Фауст, обманутый Шлемиль. /Беги, лети и странствуй, вернись к себе домой. /Оберегай пространство от вечности самой» Там до этого сказано, что вот здесь, в такое мгновение, в этом царстве идеала «втягивает вечность воронкою небес, чтобы теряя вещность ты в вечности исчез». Вот: «беги, познание стопроцентно, и всё же улетай. Беги от эпицентра потусторонних тайн. /Увы, Господь опознан и выведен на свет. /Беги, а мне уж поздно. Меня, как видишь, нет». Вроде бы, это о торжестве смерти. На самом деле, это о торжестве жизни, пусть и прерванной ипостасной гранью. Когда-то я очень любил, да и сейчас люблю, но просто когда-то на уроке одном, из ранних молодых моих уроков в школе, вспомнил тютчевское, где он говорит о том, что вот его жизнь подобна угасанию огня, угасанию огненных строчек на свитке, который сгорает. «Так грустно тлится жизнь моя. /И с каждым днем уходит дымом; /Так постепенно гасну я /В однообразье нестерпимом! /О небо, если бы хоть раз /Сей пламень развился по воле, /И, не томясь, не мучась доле, /Я просиял бы и погас!». Вот у меня попытка, наверно, сказать о том же. Речь идёт о любви к своей ипостаси, о том, что при всей её ипостасной родственной связи с тем, как она по-новому, в ином существовании, не вполне осознанно, явится вновь. О том, что она должна быть любима, и о том, что она должна просиять по воле, то есть полной зависимости от того, что я хочу. И она призвана собраться в этом мгновении, перед тем, как погаснуть, как ипостасно погаснуть, собраться в себе всю возможность этого ипостасного бытия: «просиял бы и погас». И здесь: «беги от эпицентра потусторонних тайн». Любя свою ипостасную возможность. Тем не менее, «познание стопроцентно» в этот момент. И потому можно просиять, перед тем, как погаснуть. И как ни бежишь от эпицентра потусторонних тайн, тебе предназначено в какой-то

миг оказаться в этом центре. Это для кого-то абсолютный конец. Но для меня небытие ипостасно бытию и творит бытие из самого себя. И поэтому для меня это миг, когда перед тем, как погаснуть, можно по своей воле просиять.

18 января 2020

Как всё-таки быть? Единство и борьба противоположностей и ипостасность их, этих противоположностей – это одно и то же? Тут есть некая ограниченность, которая уже давно, несколько столетий тому назад, была свойственна идеализму. А диалектический материализм – попытка совместить идеализм и собственно материализм. И та ограниченность, которая была наложена на идеализм, оказалась присуща и диалектическому материализму. По Гегелю получалось, что исторический процесс, диалектический, есть процесс высвобождения абсолютной идеи. И поэтому его, Гегеля, философия, до конца высвободившая эту абсолютную идею, это и есть финальная точка развития. История заканчивается философией Гегеля. Абсолютная идея, познав себя, возвращается к себе самой, преодолев оболочку материального и того, что находилось в процессе развития как материальная сущность воплощения идеи.

Чем-то это напоминает грандиозную формулу в «Махабхарате», в индусской сверхгениальной поэме о борьбе пандавов и кауравов. И вот пандавы, царь Юдхиштхира и его братья, среди которых Арджуна, конечно, на первом месте, пройдя чудовищные, запредельно страшные испытания, те испытания, которые, видимо, есть отблеск миновавших катастроф, оставивших след только в мифологическом предании и одновременно пророчащие о будущих катастрофах. Которые нам еще предстоят в той войне, где будет использовано описанное в «Махабхарате» оружие. Вот пройдя через все эти испытания, Юдхиштхира, уже потеряв своих братьев, возвращается в царство богов. Проходит там последнее испытание. Он, оказывается, обнаруживает, что его братья мучаются, страдают, а коварные враги, с которыми и шла эта чудовищная, неохватно громадная война, они, вот эти коварные враги, блаженствуют. Юдхиштхире предоставлена возможность принять сторону тех или других, примкнуть к блаженствующим или к страдающим. Он предпочитает страдающих. И тут выясняется, что всё это лишь испытание. И что все герои «Махабхараты» это боги. Они такими

были изначально и, пройдя эти превращения, испытав эти события, вновь возвращаются к себе.

У Гегеля такое превращение и такой возврат в себе переживает абсолютная идея. И таким образом, сюжетика мировой истории завершается. И дальше она обречена лишь на повторение, причем, повторение это философа уже не интересует, поскольку им были показаны предшествующие этапы высвобождения абсолютной идеи. Зачем повторять то, что сказано уже? Вот эта ограниченность идеализмом даже сугубо диалектического было наследственным грузом или грузом наследственной болезни для диалектического материализма. Который, проведя развитие через борьбу противоположностей и подняв эти диалектические процессы до царства свободы, введя их в царство свободы, дальше как будто терял способность видеть, как же будет развиваться подлинная история человечества. Ну да, нужно постигать очень многое, нужно разрешать, казалось бы, неразрешимые вопросы, нужно обживать космос, нужно делать небо человеческим, приближая, как писал Пришвин, холодные тела к горячим и создавая человеческие, приемлемые для человека формы космического бытия. Да, все это надо. Но как это делать? Как будет жить единство и борьба противоположностей при этом?

Много споров было о царстве свободы, о коммунизме. У Маркса четкого представления о коммунизме всё же не было. Не было его и у Ленина. И в свое время в начале 60-х годов на уроках литературы в школе много-много дискутировали о коммунизме. И всё равно, вспоминая об этих горячих и непрекращающихся спорах о четвертом сне Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать», я помню, что очень многое достойно памяти, но как-то не очень вспоминается. Неясность и ограниченность самого метода, при всей напряженности поисков и споров, всё-таки даёт о себе знать. И вот я спрашиваю себя самого сейчас, как же может быть соотнесена идея единства и борьбы противоположностей и их ипостасность. Дело в том, что ипостасность не только в будущем царстве свободы, но и в той реальности, той действительности, которую человечество переживает и переживало, уже вот в этом опыте ипостасного бытия выявляла многократные, неисчислимы, многообразные проявления подлинной свободы и того самого царства будущего, которое, казалось бы, ещё не наступило. И вместе с тем, разумеется, будущее отмечено особым качеством

свободы. И вероятно, ипостасность там должна быть иной или несколько иной.

Но для того, чтобы в этом разобраться и хоть немножко приблизиться к пониманию этой проблемы, нужно соотнести ипостасность и диалектику. А здесь вопрос оказывается невероятно сложным и предельно простым. Ведь ипостасность это внесение религиозного начала в философию. Но ведь философия и по природе своей несет в себе нечто родственное религиозному мироотношению и миропониманию. Всё то, что является постулатом, всё то, что принято без доказательств – всё это сродни религиозному представлению о Боге или об абсолютной идее, или вот о тех самых божествах, которые обречены пройти испытания и вернуться к себе, как в «Махабхарате». Всё это действительно сродни. И что же это означает? Неужели то, что здесь, где не применима в полной мере и до конца логика, в том числе и диалектическая логика, точнее сказать, где логика и диалектика недостаточны для того, чтобы познать эти соотношения, что там, где привносится идея ипостасности, там кончается человеческая мысль? Там прекращается поиск, там сыновнее чувство, сыновняя природа человеческого сознания и познания тоже находит свой предел, стучит в потолок возможностей и тоже по-своему означает конец развития?

Очень соблазнительно именно так завершить наш поиск. Но что делать, если внутреннее чувство подсказывает мне, что это всё не так. Что диалектика и ипостасность ипостасно соотносятся друг с другом. И постичь это соотношение ещё пока не удалось никому. И может быть, вряд ли удастся и мне. Чем я особенно отличаюсь от других мыслящих? И мыслящих честно. Там, где привносится в духовную культуру, культуру духа, религиозное начало, там дается разрешение неразрешимых проблем. Там сообщается или открывается знание, которое не может быть ни опровергнуто, ни доказано и которое требуют одного: веры. Так вот, если соотнести диалектику и ипостасность тех начал, которые диалектически соотносятся друг с другом, что же выходит? Неужели получается, что ипостасность диалектики и самого принципа, самой идеи ипостасности, неуловима, тоже требует веры. И там тоже нужно бросать якорь в этом путешествии к истине.

Тут невольно вспоминается гениальное стихотворение Фридриха Шиллера «Величие мира». Мысль стремится к тому, чтобы познать, где край,

где конец мироздания. Она пролетает сквозь миры, мимо звезд, мимо солнц, различных центров и систем этих небесных миров. И вот видит, как навстречу летит такой же путешествующий в мире искатель истины. Но он с противоположной стороны. И они встречаются почти лицом к лицу. Их путешествия направлены друг против друга. И, казалось бы, вот эта встреча должна быть решением. Одна часть мироздания охвачена первым искателем, а вторая – тем, с кем он встретился. Но и тот, и другой искатели истины сообщают только одно: конца не обнаружено ни там, ни здесь. И поэтому, как кончает Шиллер, надо бросить якорь в том месте встречи. Надо остановить мысль, которая выполнила всё, что могла. В праве ли я сейчас, видя эту встречу диалектики и идеи ипостасности, продолжить поиск? Или нужно в момент встречи самой его завершить? И нужно сказать, что неполнота диалектической мысли восполняется верой в ипостасность соотношения противоположностей, и в этом заключена сыновняя природа познания? Всё так. Но я почему-то продолжаю чувствовать, что встреча эта совсем другая, чем у Шиллера. И я не бросаю якорь, я не останавливаю мысль и чувства. Я чувствую, осознаю, как это переходит в совсем иное, чисто ипостасное соотношение, включающее в себя не только тождество, не только разграничение, но и взаимопереходность одновременно. И описать эту встречу и описать этот особый переход в это совершенно, совсем особое качество духовного познания и сознания, ещё предстоит. И здесь можно постичь нечто такое, с высоты чего можно вновь и абсолютно по-новому охватить, познать, вновь пережить весь уже совершённый опыт. Ну что ж, спасибо уже хотя бы за то, что такая решимость живёт в душе. Теперь буду дожидаться следующего утра, когда придут новые силы и какие-то новые решения. Может быть, новые прозрения. Может быть, фантазии одарят моё сыновнее сознание.

19 января 2020

Человек не жертва и не финал истории. Человек – процесс Божеского осознания самого себя. Даже если мы верим в персонального, добытийного, апофатически существовавшего или существующего Бога. Во всяком случае, образ и подобие Божье, отразившееся в человеке, передаёт именно этот момент осознания самого себя. Если бы не была необходимость в таком

осознании, оно было бы как финал, уже свершившийся. Тогда незачем было бы совершать то, что Божьей волей претворено в реальность. Тогда не было бы в начале ни дела, ни мысли, ни силы, ни слова. Не было бы процесса. Ещё и ещё раз. Вопрос не в том, каким мы видим, представляем себе Бога, в которого веруем. Блок в стихотворении «Русь» передал это: «и сам не понял, не измерил, кому я песни посвятил. В какого бога страстно верил, какую девушку любил». В какого Бога страстно верил. Дело не в том, какого Бога, а дело в том, действительно ли это Бог и действительно ли ты веришь. Религиозное сыновнее чувство предполагает веру как проявление Божьего начала в самом человеке. Разговор с Богом, обращение к нему – это уже проявление Бога в человеческом опыте, в человеческом облике, в человеческом существовании. А существование, самое это слово, есть перевод слова ипостась. Вот почему четкое разграничение прошлого, настоящего и будущего необходимо для тех, кто, утратив прошлое, живя настоящим, боится будущего. Боится потому, что не знает, каким оно будет и будет ли оно. Ничего не знает о нём. И вот верит – кто во что. Кто в небытие, кто в загробное существование. Кто в то, чтобы соотнести, если не уравнивать, земное и запредельное бытие. Кто апофатически, представляя себе и Бога и загробное существование вне бытия. Кто как.

Но вот именно ипостасное представление о единстве бытийного и небытийного открывает будущее и в прошлом, и в настоящем. Сама борьба человека с собою есть проявление этой связи, этой ипостасной связи. А то, что человек существует – свидетельство Божьих дел, Божьих устремлений к тому, чтобы существованием человека, рождением его, созданием, быть может, его, осуществить бытийно или добытийно своё Божье сознание. Вот почему и светлое будущее, в том виде, в каком его представляли, и если вернется идея коммунизма (а она и не уходит для очень многих), вот если будущее будет четко обозначено как особый виток исторической спирали, исторического развития, и кто-то когда-то объявит: товарищи или господа, или братья земляне, мы вступили в эру коммунизма, если такое осуществится, то это будет равно или родственно нашим представлениям о переходе в загробное существование. Вдруг кто-то как-то, может быть, сама душа человеческая скажет себе: «вот я в другом существовании, я в него, это существование, перешла». А на самом деле, ипостасность в соотношении внутри человека, отражающая, видимо, отражающая некие глубинные

соотношения в том, кого мы называем Богом, уже несут в себе ясный образ будущего. А если человек достигает каких-то очень важных, поистине целевых даже в божьем опыте состояний, то можно говорить и о светлом будущем, доступном тебе уже сейчас. А вместе с тем, речь идёт и о том, что далеко от этих идеальных состояний, противоположно ему, противоположно ему – этому миру божеских свершений, святости, устремленности к победе добра, блага, в этой причастности к творчеству. Потому что творчество есть благо, не разрушение, а творчество.

Человек, уподобивший себя творцу, в чем-то равнозначный ему, когда он творит, это уже человек будущего. Если сотворенное не есть форма разрушения, что довольно часто бывает. Эти состояния человеку даны, как и состояние зла, как это разрушительное стремление к разрушению, стремление к злу. То, что даже Фрейд признал как некую противоположность либидо, воли к жизни. И это состояние, если оно ипостасно противоположному, целевому для Бога и человека, оно оказывается вовлеченным в этот Божий процесс творения, деяния, слова, силы, мысли. И вот это особое, исторически определённое отношение к злу, отрицательному опыту истории, который как момент ипостасного свершения, меняет всю картину исторического, современного и предчувствуемого будущего существования человека, человечества. Изменяются оценки тех или иных поступков. Отрицание зла усилится, но усилится в ипостасном контексте. Когда зло предстанет в единстве Божьего процесса, когда Божьи пути неведомы нам, как неведомы нам и наши собственные пути, если говорить об отдельных индивидуально-личностных исканиях. И как мы уже неоднократно говорили, принимая ипостасное проявление человека как Божье осуществление его.

Вот в этом живом контексте зло подвергается отрицанию более определенному, более глубинному, чем стремление очиститься от зла и стать той самой дистиллированной водой, о которой писал Мартынов: «ни умыться, ни напиться». Ей, этой воде, «не хватало ивы, тала и горечи прибрежных лоз, ей водорослей не хватало и рыбы, жирной от стрекоз. Ей не хватало быть волнистой, ей не хватало течь везде. Ей жизни не хватало – чистой дистиллированной воде». Такое очищенное бытие лишено внутреннего процесса движения, преодоления. Оно исключает ипостасность как взаимопереходность, противоположность. Взаимопереходность, смысл

которой – в божьем творении бытия, совершаемом Богом и человеком. При всей глубине отрицания зла оно не уходит из опыта. Оно не может быть оправдано, но от него и нельзя очиститься ради того, чтобы не думать, не испытывать силы, не обретать слово и не совершать деяния.

Это меняет картину исторического бытия, это уточняет и углубляет нравственную оценку. И это далеко не совпадает с попыткой встать по ту сторону добра и зла. И об этом нам уже приходилось говорить. Но сейчас хочется сказать себе самому о том, что светлое будущее уже явлено в человеческом опыте. Это не значит, что к нему уже незачем стремиться. Наоборот. Оно явлено, как то, к чему стремление будет и должно быть непрерывным. И если так соотнести прошлое, настоящее и будущее, будущее как цель бытия, картина станет во многом другой, новой. Без этого очищенного, искусственно очищенного представления о вознесенном над жизнью благе и без попыток оправдать зло. У Льва Толстого в гениальной притче «Чем люди живы», в самом ее конце, говорится о том, как ангел отбывает на небо, познав правду, которую он раньше не знал. И в эту правду входит простая мысль о том, что людям не дано знать (а сама правда ведь предстает как некие три внутренние заповеди), что у людей есть, чего им не дано, и чем люди живы. Дана способность любить. Не дано ничего знать о себе лично – человек даже не знает, когда он уйдет из жизни. Но зато дано знание о том, что нужно всем. Не дано знать то, что возможно и нужно лично каждому, осуществлённое в конкретной живой судьбе, осуществленное в тех ясных формах будущего, лично индивидуального будущего – это знать не дано. Зато открыто людям то, что нужно им всем. Чувствуется, как напряжённо Толстой искал точное слово, точное представление, точное воплощение своего христианского учения, как он его понимал. И это понимание – триединое понимание: дана любовь и способность любить, не дано применять эту любовь только и исключительно к себе самому и открыта возможность применять эту данную человеку любовь ко всему бытию. Какая мудрая, точная, воистину Божеская мысль. Какое верное сознание и предчувствие будущего, данное человеку и добытое им, и добываемое самим Богом в человеческом опыте.

Ну что ж, более страшная, более апокалиптическая картина человеческого существования становится просветлённой, становится осмысленной, в хорошем смысле слова – религиозно истолкованной,

научно-познаваемой (в меру возможности научного познания) и художественно испытанной, воссозданной, ипостасно вновь рожденной. Если это собрать, если не утрачивать это каждый день, каждое утро, и начинать свой день с такого сознания, которое каждый раз будет новым и приведет к новым переживаниям, к новым, не очищенным от жизни состояниям, если вот так жить, если уметь, как со стакана воды утром, начинать с такого сопричастного воспоминания о главном завете бытия, то можно очень много нового сказать. Добавить многое к тому, что уже сказано.

И не впадая в благостность заблуждения, сотворить всё то, что можно сотворить. Во всяком случае, многое уже есть в будущем. Там есть многое страшное, есть подлинно действительное. Его в «Бхавадгите» открывает Кришна Арджуне, когда тот, отказываясь сражаться за правду, за человеческий смысл, ибо сражаться придётся с родственниками, с кауравами, вот этому, сверх по-гамлетовски сомневающемуся Арджуне Кришна открывает по его просьбе свою вселенскую форму и говорит ему: смотри, ты видишь, я уже решил судьбу тех, против кого ты не хочешь бороться. Твоё деяние, твоё воинское деяние уже осуществлено в будущем. Тебе нужно только воплотить это будущее в себе. Я уже приговорил злых и коварных. Тебе нужно только осуществить это, сделать то, что уже есть в будущем. Разумеется, в «Махабхарате» такое представление о будущем с помощью этого удивительного и страшного образа вселенской формы ограничено временем. Речь идет о войне. Причём, о войне вселенской. Той самой войне, какая показана в «Махабхарате». Тут трудно сказать, как проявилась ипостасность в тримурти. Мир создан. И вот теперь Вишну призван его охранять, а Шива – его уничтожать. А Кришна, воплощение Вишну, ипостась Вишну, невольно соединяет в себе, рисуя перед Арджуней и открывая Арджуне вселенскую форму, он соединяет в себе Вишну и Шиву. Но соединяются они ипостасно. Но не в том христианском, подлинно Божеском, как предполагаю я, воплощении, какую являет Троица. Вселенская форма страшна этим видением почти всеобщего уничтожения. Миры гибнут, и Арджуна видит эту гибель и в ужасе просит Кришну опять принять свой человеческий облик. И вновь стать его другом и возничим, развоплотиться от вселенской формы и собрать себя в человеческом облике. Это очень сильно. Это говорит о той предельной степени сознания, которая достигнута в «Махабхарате». Ибо всеобщая гибель есть лишь, как можно было бы сказать,

применив наш принцип ипостасности, это лишь одно из ипостасных состояний бытия. И Арджуна вместе с другими героями «Махабхараты», как боги, лишь возвратятся к себе в итоге итогов.

А вот христианская Троица возвращает к жизни. В ней самое нетленное, самое подлинное, самое отличающее ее от всех других возможных ипостасных, тройственных или нетройственных единств. Это человеческая форма. Это то, к чему и Арджуна просит Кришну вернуться. Но здесь есть глубинные различия между временным воплощением, которое осуществляет Кришна, верховное божество и одновременно возникший Арджуны; его друг, синекожий красавиц Кришна. А христианская Троица навсегда нетленна, непреодолима и без нацеленности на преодоление. Это преодоление вводит человеческое начало в Божеское самоосуществление, Божеское саморождение. Здесь есть разница. Её ещё нужно по-настоящему осмыслить в слове, в образах. В этом верующем устремлении к Богу. И в этом научном поиске. И все диссонансы, которые будут на этом пути в человеческом сознании, принять как путь Божьего самоосуществления с нашей помощью и в нас. И в этом смысле книга Юнга «Ответ Иову», о которой уже приходилось нам говорить, воистину гениальна. Именно в этой книге указан, как уже нам приходилось говорить, по-настоящему глубинный, подлинно библейский переход от «Ветхого» к «Новому» бытию. А человечеству остаётся творить новейший Завет. Его контуры, его вехи, его предчувствия живут, трепещут, отражаются в «Ветхом» и «Новом Завете». Но это, не побоюсь своим верующим сознанием сказать себе, это лишь блики подлинно нового завета. Не того, о котором мечтал Мережковский, а противоположного во многом ему. Того, которое будет насыщено и словом, и мыслью, и силой, и деянием будущего. Видение этого будущего живёт и оживает в христианской Троице. Где Христос оказывается главным героем, по-пришвински – величиной с палец и одновременно героем Вселенной. Это дано Христу. А Христом передано, ипостасно передано каждому из нас.

20 января 2020

Противоречащий только что мне возразил. Все попытки твои, – говорит он мне, – противопоставить христианскую Троицу индусской, индусскому единству, тримурти, ошибочны. Ведь, по существу, это та же индусская

Троица. Создатель мира и там и тут, по сути, один. Вторая ипостась, Вишну, это тот же Христос, спаситель созданного мира, спаситель человечества. А третья ипостась Святой дух – Шива. Это когда вместо созданного мира, вместо материально-вещественного воплощенного бытия будет у власти Дух, Святой Дух. Это значит, что мир будет погублен. И после Апокалипсиса, когда на суд явятся вновь вошедшие в свои тела души, они будут воплощены вновь в прежних телах, лишь для суда. А дальше Дух Святой, который означает небытийное, сверхбытийное царство Бога. И одновременно означает гибель созданного прежде мира. Вот так мне возражает тот, кто противоречит, Противоречащий.

Раньше я бы испугался такому открытию, испугался бы, узнав о таком открытии. А сейчас почему-то нет. Допустим, всё так. Допустим, будущее – это царство духа, которое придет на смену вещественному, воплощенному бытию. Тогда мое стихотворение «Из царства идеала сбегая в тот же день», которое мы уже не раз цитировали, будет иметь значение не только индивидуальное, личностное, для того, кому предстоит переход в небытие, смерть. Но это и некая, получается, формула, история всего бытия:

Здесь втягивает вечность
Воронкой небес,
Чтобы, теряя вещьность,
Ты в вечности исчез.

Познание стопроцентно,
И всё же улетай.
Лети от эпицентра
Потусторонних тайн.

Увы, Господь опознан
И выведен на свет...
Беги!.. А мне уже поздно...
Меня, как видишь, нет.

Меня, как видишь, нет. Но царство идеала, откуда я пытаюсь сбежать, остаётся. Допустим, что можно так истолковать даже мои строки. Всё равно, опыт, рождающий не только сознание, человеческое сознание, опыт, порождающий целую культуру духа, не отрывного от вещественного

проявленного бытия, опыт этот, не нужно доказывать, мы знаем, что он был и есть. И так как мы сейчас часть бытия, то он существует в нас. И он нашими судьбами, нашим опытом, нашим словом, мыслью, силой и деянием утвердил своё существование. Если Декарт сказал «Я мыслю, значит, существую», если живет до сих пор крылатое выражение, крылатый афоризм «верю, потому что абсурдно», то можно сказать: уж если был такой опыт, который породил меня, значит, он в каком-то ином качестве повторится. Это лишь проба, творческое мгновение сущего – того, что не существует, но рождается из существующего и несет в себе новое существование, новую ипостась.

А если это так, то кто определит границы, пределы такого будущего? Конечно, определить это можно. Но кто будет считать доказанным, что именно такая версия будущего верна? Этому никто не знает. И поэтому здесь возможно религиозное, верующее предположение и предчувствие будущего, которое разрешит все-все нынешние недосказанности, недовершенности, противоречия, абсурды. Всё, решительно всё. Противоречащий говорит: всё утонет в беспредельной тьме несуществования. Мысль Мефистофеля. Но эта мысль Мефистофеля, уж если существовал факт бытия, возьмём его в целом, как некий единый, действительно явившийся и проявившийся мир, факт. Уж если он, этот факт, существовал, то значит – никто не может утверждать невозможность появления и проявления будущей ипостаси этого факта. И опять самый принцип ипостасности неизбежен. Он восстанавливается, казалось бы, в самую отчаянную минуту сознания. Когда уже преодоленный, вроде бы, Противоречащий вновь является. Он будет являться. Но ведь он тоже ипостась того, кто творит культуру духа, где индуское тримурти преодолено христианской Троицей. А она, Троица, где второй ипостасью оказывается Христос, но не только как Бог, а как существенное проявление всего бытия, эта Троица, повторим, в ее универсальном проявлении, вправе вызвать по отношению к себе беспредельную и новую веру. Которая сольет и материализм, и идеализм, и религиозное сознание, и научный поиск, научное, беспощадно требовательное, доказательное и проверенное, хотя и неполное знание. И всю мощь художественного предвидения, которое вполне доступно и которое, как бы, идёт навстречу потребности вообразить будущее, которое ипостасно по отношению к настоящему и прошлому. И

которое, таким образом, взаимопереходно по отношению к прошлому и настоящему. Обещает великое свершение.

Но, разумеется, это вера. Её нужно подвергнуть всяческой универсальной проверке. И научная мысль, опыт и эксперимент, будет это совершать. И оно же призывает художественное предвидение, художественную способность к сыновнему соревнованию с творцом, кем бы он ни был – персональным Богом или тем, что самосоздается, или природой, как угодно. Сыновнее соревнование с этим началом – всё это призвано, если только применить спасительный принцип ипостасности, во всей его полноте и во всей его неопровержимой, призывающей человека правде. Никогда ещё утром я не испытывал такого победного чувства. Хотя до победы – не тысячелетия, а неизмеримость времени и пространства. И все равно, ипостасная культура духа, которая соединит, может соединить все попытки познания и самопознания, присущие бытию, вот эта культура духа, культура такого духа возможна и победна в своей ипостасной природе. Не опровержима усилиями никого из тех, кто захочет противоречить. Они останутся в сознании абсурдности своего отрицания. А я сегодня, по крайней мере, остаюсь в мужественном сознании неизбежной победы, ради которой всё, что есть, явилось и явится в этом необозримо отдаленном, а, быть может, и рядом со мной существующим уже будущем. Это моя вселенская форма, которую я сам, воплощая себя в образе Кришны, Кришны-Христа, чувствую, ощущаю и духовно и физически на самой, казалось бы, грани моей нынешней ипостаси. Державин восклицал в оде «Бессмертие души»: «Да на краю воскликну бездны: жив Бог, жива душа моя». Я переформулировал для себя эту формулу. И мне думается, что это уточнение может войти в мою духовную, проявленную суть, проявленную и осознанную сущность. Мою подаренную мне ипостась.

21 января 2020

Есть у Пришвина стихотворение в прозе, которое называется «Стиль». Оно очень коротенькое, обращено к другу, к самому себе и посвящено, может быть, самому непостижимому в творчестве. Ну, вот по памяти приблизительно так: друг мой, из твоей мирообъемлющей страсти рождается стиль художника. И только это имея и зная в себе, учишься, старайся

умело сдерживать эту любовь и выговаривать осторожно. И так родится твой стиль художника из мирообъемлющей страсти, а не из выучки мастерству. Эти несколько строчек прошли через всю мою жизнь. Я старался, насколько мог, постичь эту тайну тайн. И не только практически, но и теоретически. И как настоящее высказывание художника, художественное по своей природе, оно всё равно неисчерпаемо. Если начинать выучкой мастерству, без всякой предполагаемой способности любить весь мир, охватить весь его своей любовью; и только из этой силы что-то отбирать, что-то осторожно выговаривать и не пытаться искусственно пригласить к себе свою любовь к миру, а умело сдерживать ту любовь, которая уже есть, то вот тогда и родится стиль. Оказывается, к нему тоже применимо понятие ипостасности, потому что вот это умелое сдерживание себя есть проявление свободного приятия ипостаси.

Казалось бы, зачем себя умело сдерживать? Имеешь эту всеобъемлющую страсть, мирообъемлющую способность любить, и чем больше эта мирообъемлющая способность себя явит, тем сильнее ты будешь и в стилевом самоощущении. Стиль придёт сам. Нет, оказывается, не так. Надо осторожно выговаривать, надо умело сдерживать себя. Но эта осторожность и это умение себя сдерживать происходит, рождается из твоей воли. Это проявление твоей свободы. А раз это проявление твоей свободы, то ты сможешь, в пределах ипостаси, которую ты переживаешь, в которой ты живёшь, быть свободным по своей воле. Свобода порождена свободой. Очень трудно, казалось бы, понять это до предела простое благовествование о стиле. Ведь по идее, ипостасное существование – это приглашение к тому, чтобы умело сдерживать и осторожно выговаривать. Не было бы этой природы существования, не было бы и необходимости ограничивать и осторожно уметь, зная в себе безграничность и не требующую умения силу всеобъемлющей любви. Но так как нужно успеть, потому что в новой ипостаси, будь она пространственной или временной, всё так или иначе будет рождаться с самого начала. Надо успеть, надо вместить в свою ипостась как можно больше, зная, что придётся сызнова пытаться и начинать. Сегодня я очень спокойно переживаю, мысленно перечитываю эти мудрые пришвинские строки. Он не знал понятия об ипостасности. Для него стиль был проявлением борьбы с той судьбой, которую определила природа. Это ответ человека, получившего все дозволенные природою дары. А если бы он

знал об ипостасной безграничности этой всеохватной мирообъемлющей любви, я думаю, тогда он ещё больше обрадовался бы своему евангелию. Он понял бы, почему оно именно так благовествует о свободе. И вообще было бы ясно, зачем всё именно так. И зачем стиль. Я уже приобвык к тому, чтобы выражать свою, действительно, мирообъемлющую любовь без всякой оглядки на стиль. Но я прекрасно знал, что стиль будет подарен, если есть эта мирообъемлющая страсть.

Оказывается, ещё глубже и точнее. Стиль не будет подарен. Его нужно будет суметь осознать и сотворить. Умело сдерживая свою мирообъемлющую страсть, я осознаю её ничем не измеримые временные и пространственные просторы и проявления. И потому я свободен, имея это и зная это в себе. По-настоящему наслаждаться данным от природы голосом можно только, если владеешь особым певческим дыханием, которое предполагает опору. Когда я занимался сольным пением, я спрашивал Марию Михайловну, что такое опора. И она говорила мне о том, что это соединение, казалось бы, противоположных движений. Движение, освобождающее голос, идущее изнутри, и движение, которое умело сдерживает это освобождение, идущее как бы извне, от человеческой воли. Они встречаются где-то в груди, и она показывала, где, даже то место, где встречаются они. И когда эта встреча оказывается по-настоящему осуществленной, когда и движение изнутри и внутрь, вроде бы, неподвижно замирают как некая основа, опора голоса, тогда по-настоящему можно почувствовать этот данный тебе природой дар. Насладиться им, потому что собственным голосом надо уметь наслаждаться. Для этого нужно его так ограничить, так умело сдерживать, чтобы он мог по-настоящему явить свою умело сдержанную силу.

Потом я встретил одного диссертанта, который подарил мне свою книгу, как раз вот повествующую об этом опорно умелом сдерживании своей способности, которое и порождает подлинно певческое дыхание. Он не знал, где защищать свою диссертацию, ибо воспринимал голос как инструмент. А это один учёный совет. Или же надо было воспринимать голос как субъект творчества, а не средство его осуществления. Долго не могли понять, где ему защищаться. Наконец, он защитился и вот где-то в метро, в вагоне метро, случайно встретив меня, прямо тут же и подарил мне свою книгу о певческом дыхании.

Мне думается, что самое понятие ипостасности – это сдерживание мирообъемлющей страсти. Она, как звук, свободно льющегося и по-настоящему, на хорошей опоре, поставленного голоса обнаруживает свою силу и сдерживает её, эту силу, тем особым, свободным, а не вынужденным вибрато, который есть признак подлинного природного и поставленного пения. И сейчас я иногда пробую голос и чувствую – вот он льётся свободно. И это настоящий певческий голос. Но вдруг вибрато начинает быть искусственным, голос уже не льется, а качается. И тогда ты не чувствуешь радости от той свободы, которая тебе подарена, но которой ты должен умело овладеть. Такое овладение голосом – прообраз творческой свободы. Всё, что ты хочешь написать, нужно написать, осознавая эту силу и власть свободного самоограничения.

Поймать это так же трудно, как осознать и на деле почувствовать и применить ипостасную природу твоего существования. Которая безгранична, в этом смысле мирообъемлюща, и которую ты должен сам, по своей воле, осторожно и умело сдержать ради того, чтобы оно проявило всю свою силу. Ну что ж, в своём разговоре с самим собою я до сих пор не говорил, не вспоминал о своих вокальных пробах. Хотя учился сольному пению, был солистом хора Университета. И очень много пробовал, мучился, ошибался, искал. Были и радости, были удачи. Был тот или иной, в той или иной мере данный от природы голос. Он отчасти и сейчас ещё остаётся при мне. Видимо, чтобы порадоваться этому дару, пусть и поздно, или чтобы проститься с ним ради того, чтобы нечто, возможно, обрести в иной своей ипостаси, стоит вспомнить то, о чём я пытался написать в повести «Филфак». Но что ещё по-настоящему не сказалось точным, умело сдержанным и осторожно выговоренным словом. Попытаемся это сделать. Но перед тем я поговорю с самим собою о том, как певческое дыхание, певческий голос по-особому и совсем неожиданно даёт понять, что такое твой стиль. Голос – то, что дано природой, и то, что может быть ею отнято, когда наступит срок прощания с этим даром. А слово тебе дано безгранично. И то, что ты своей мирообъемлющей страстью можешь полюбить, тоже безгранично. И как важно мне сейчас, вспоминая эти бесконечные попытки овладения голосом, перенести то, что порой удавалось, в мир точного слова и всеобъемлющей любви.

22 января 2020

Бог или природа умело сдерживают себя ипостасностью бытия, ипостасностью осуществления. «Здесь заповеданность истины всей», цель бесконечная достижений. Получается, что цель эта, где Богу удаётся осуществить свой замысел, это пока Земля. Вот она несётся по предначертанному кругу, а гармония сфер, окружающая ее, это ведь тоже осуществление, тоже «заповеданность истины всей». И везде вещественность осуществления это и есть умело сдержанная воля. То же призван делать и человек, сдерживая себя и свою волю и сгущая это сдерживающее мудрое начало до осуществления. До того, что оно ощутимо, не зримо самому человеку, является в мир. Человеческий голос, певческий, умело сдержанный, звучит, обнаруживая несказанную прелесть и красоту. Это я говорю не о своем голосе. И вот таким образом Господь или сама природа побеждает во времени и в пространстве. И всё это заповедано человеку.

Немецкий Фауст удовлетворился рытьем канав, строительством плотины, победой над стихией, ежедневной, на грани жизни и смерти, игрою сил, преобразующих природу, творящих небывалое в ней. «Мильоны я стяну сюда на девственную землю нашу. Я жизнь их не обезопасю, но благодатностью труда и вольной волею украшу». Так именно вседневно, непрерывно шутя опасностью, пусть ведут свою жизнь муж, старец и дитя, завоевывая свободу каждый день заново. Вот этим Фауст удовлетворился, немецкий, на своей родине, своей деятельностной мастерской. К чему у немцев есть и склонность, и дар. А русский Фауст, пушкинский, завоевал бессмертие, ничем не заполненное, никаким деянием не насыщенное. И скука бездеятельностного бессмертия – вот его достижение. Перед которым даже Мефистофель пасует, поскольку более страшного для Фауста ни в каком аду он не сможет предложить. Незачем брать душу Фауста. Он сам поработил себя своим бездеятельностным, скучающим бессмертием. Впрочем, если читать текст «Сцены из Фауста» точно и внимательно, в нём у Мефистофеля есть некое противоречие, может быть, и у самого Пушкина. В самом начале, когда Фауст признается: «Мне скучно, бес», Мефистофель выводит формулу, в которой ничего не говорится о бессмертии. «Вся тварь разумная скучает, – говорит Мефистофель, – иной от лени, тот от дел, /Кто

верит, тот утратил веру; /Тот насладиться не успел, /Тот насладился через меру. /И всяк зеваает да живет – /И всех вас гроб, зевая, ждёт. /Зевай и ты». Фауст не оспаривает эту формулу. «Сухая шутка», – вот как он определяет её. Иными словами, гроб, смерть ожидает и Фауста. Но ведь он в трагедии Гете, по договору с Мефистофелем, прервет свою жизнь только тогда, когда скажет: «мгновенье, продлились, остановись». Противоречие? Или, может быть, особая пушкинское загадка. Вряд ли, можно допустить, что он не читал внимательно «Фауста», гетевского «Фауста». И так, оказывается, что вот это отсутствие умелого сдерживания себя приводит к этой страшной, невообразимо страшной участи русского Фауста.

Здесь Пушкин настолько глубоко заглянул вот в эту бездну русской души, что, конечно, опередил всех, включая Толстого, Достоевского. На этом же пути и перед этой же участью тургеневский Базаров, гениальный образ. И вот 20 век – это попытка преодолеть фаустовскую судьбу России с её ничем не заполненными просторами, ничем не измеренным временем. Всё это подарено, и всё это ничем не насыщено. Никаким деянием. «Здесь заповеданность истины всей». Вечная женственность живёт на этих просторах. Сама Россия несёт в себе загадку вечной женственности. Так её, Россию, воспринимал и любил Блок, до сих пор недооценённый. Его всё истолковывают как певца «Двенадцати». Но он, прежде всего, – певец России, не Прекрасной Дамы и этого идущего впереди, неврежденного для пули, в белом венчике из роз, Христа. Он певец этих безграничных просторов, этого бесконечного времени и несказанной, порождающей чистоту души женственности России. «Ты и во сне необычайна. /Твоей одежды не коснусь. /Дремлю – и за дремотой тайна. /И в тайне – ты почиешь, Русь». Русь опоясана дубрами, окружена болотами и журавлями, и «мутным взором колдуна, /Где разноликие народы /Из края в край, из дола в дол /Ведут ночные хороводы /Под заревом горящих сел». Так и закончено это гениальное стихотворение: «Живую душу укачала, /Русь, на своих просторах, ты. /И вот она не запятнала /первоначальной чистоты. /Дремлю – и за дремотой тайна, /И в тайне поживает Русь. /Она и в снах необычайна. /Её одежды не коснусь».

Вечная женственность Руси, порождающая это, хочется добавить, и лелеющая на своих просторах эту первоначально рождённую чистоту. Это поразительно. Можно ли считать такой образ, его нет ни у кого – ни у

Брюсова, ни у Бальмонта, ни у Зинаиды Гиппиус, ни у кого, можно ли считать это преодолением в мире русского пушкинского Фауста? Мы начали в 20 веке, казалось бы, с нуля, эру деяния, заполняющего простор пространства и времени. Она, Россия, единственная сфера, земная, не небесная, «единственная сфера, где всё начнётся от нуля». Она, Россия, женственный образ небытия, творящего бытие.

Вот, мы пытались в XX веке, начав от нуля, создать целый мир, целую вселенную. Не только с земным, но и с космическим преодолением. И сейчас переживаем страшную участь фаустовского признания – того, что перед нами вновь, опять бесконечное и ничем не заполненное пространство и время России. Она остаётся невозделанной, неосуществленной, только осквернённой нашим неумением её любить. Байкал загажен. И как он, свою чистоту как будто бы утратили все неизмеримые и неизмеренные глубины и дали нашей Земли. Она остаётся неким предбытийным или небытийным миром на планете, которая предчувствует свой конец. И вот в этих страшных видениях, блоковских видениях, пришедших на смену пушкинской фаустовской версии, в этом вот предбытийном или постбытийном, а по сути небытийном, но вечно женственном для Блока мире совершается отступничество. Ежедневное отступничество тех, кого укачивает и лелеет на своих просторах наша Земля. Мы дремлем, мы чувствуем некую тайну за этой дремотой. Но мы уходим от этой первоначальной, дарованной нам чистоты в мир апокалиптической смерти. Тот мир, который окружает Россию.

Христос в России обесцелен. Те самые рыночные новации агонизирует у нас на глазах. Смешно говорить о том, что они преодолевают фаустовскую скуку, которую почувствовал Пушкин и о которой он предупредил. Невозможно даже говорить об этом. И даже Мефистофель куда-то пропал, Поскольку это состояние, в котором мы оказались и которое мы сами в себе создали, ему неинтересно. Неинтересно тем, что он не может преодолеть, победить и прервать его никакими муками ада. И вот опять Блок со своими, пусть не всегда выраженными ясно и определенно, но пронизывающими всё его творчество, ощущениями, молитвенными чувствами, обращенными к России.

Мой дядюшка когда-то перечитывал одно стихотворение Блока, а он обожествлял Блока и с его помощью выразил то, что даже не выразил в своем искусстве, может быть, побоялся выразить, вот он читал одно из самых

любимых своих стихотворений Блока и водил карандашом по листу бумаги, прочерчивая кривую, то взлетающую ввысь, то падающую. Передающую трепет живой, полной боли души. И он сказал мне: вот придёт время, когда эти стихи будут прочитаны совсем иначе. И он не сказал, не мог, может быть, представить себе, но только предчувствовал, время, когда, может быть, лучшие люди России, не желая участи Фауста, пушкинского Фауста, обреченного на скучающее бессмертие, уедут из России, покинут ее ради того, чтобы раствориться в конвульсиях и агонии падающего в Апокалипсис земного бытия. Они уедут туда ради временных, кратковременных благ, удобств, комфорта, ещё чего-то. Всего того, что недостойно русского Фауста. Но они попытаются развеять скуку этого безмолвия, скуку этого женственно таинственного простора. Они погонятся за призраком преодоления этой фаустовской участи, которую Блок осмыслил как глубину и чистоту любви к нашей земле. «Вот когда-нибудь, – говорил мне дядюшка, – это прочтут иначе». И в самом деле, недавно я перечитал это стихотворение и почувствовал, что оно – о тех, кто уехал. И что оно выражает такую несказанную боль и глубину безнадежно молитвенного чувства, которая одна может заполнить пространство храма Божьего. «Девушка пела в церковном хоре /О всех уставших в чужом краю, /О всех кораблях, ушедших в море, /О всех, забывших радость свою. /Так пел её голос, летящий в купол, /И луч сиял на белом плече, /И каждый из мрака смотрел и слушал, /Как белое платье пело в луче. /И всем казалось, что радость будет, /Что в тихой заводи все корабли, /Что на чужбине усталые люди /Светлую жизнь себе обрели. /И голос был сладок, и луч был тонок, /И только высоко, у царских врат, /Причастный тайнам, – плакал ребёнок /О том, что никто не придёт назад».

24 января 2020

Время исчерпано. А я так и не успел отобрать, с какого мгновения начать новую ипостась моей уже прожитой жизни. «И что же мне теперь делать?», – так размышляет мой герой из ненаписанной повести. И всё-таки он не может поверить в то, что не удастся возобновить этот момент выбора. Но время точно закончилось, и теперь остается только гадать. И он начинает гадать и перебирает всю свою жизнь. Всё то, что я успел наговорить в этот

диктофон. Из чего думал, мечтал сложить новую книгу. И уже не художественную, а книгу вот таких утренних медитаций, где то я, от имени которого идёт речь, это в полном смысле слова ипостась моего «я». Не точное повторение, а именно ипостась: тождество-различения-взаимопереходность. При всём желании точно воспроизвести себя всё равно получается ипостасное самовозобновление. Оно получается само собой. Оказывается, можно жить, разговаривая так со своей ипостасью. И как однажды вырвалось у меня, держа перед собой зеркало своей души. Вот таким образом он перебрал некоторые мгновения из прошлого, из пережитого, соединяя детство, отрочество, юность, зрелость. И не хочется произносить это слово – старость.

Тем не менее, я это слово произнёс и тут же вдруг почувствовал, что я могу вновь повторить свой выбор, вновь могу перебрать те мгновения, с которых можно было бы начать. Не повторить, а вновь начать и прожить до конца мою жизнь. Почему вдруг состоялось такое чудо? Не знаю. И состоялось ли оно? Мне кажется, что да. И вот я вновь перебираю мгновения, с которого можно было бы начать. Начать заново, начать вновь. И, таким образом, продлить свою жизнь и, может быть, вообще раздвинуть её границы. Кто знает, я ведь раньше не пробовал так. Я чувствую, как свежие, новые и самые молодые силы вновь рождаются. И я сам удивляюсь, как же я раньше не догадался, что такое возможно. Но совершенно же ясно, что начать нужно с того мгновения, которое предшествует рождению Миши. И вся жизнь разделена на эти совершенно несовместимые состояния – до и после. Но какой-то голос мне подсказывает, что если я выберу «до», а только так и возможно, вот этого «после» не будет. И вообще, не будет той жизни, которую я уже прожил. И чем дальше, тем больше я буду уходить от себя самого. И вот я спрашиваю, действительно ли я согласен на такой уход от себя. То, что это будет, когда моя ипостась кончится, это я знаю. Но мне дана возможность до её окончания совершить этот переход и отодвинуть свой конец. Потому что тут действует уже совершенно другая реальность, другое время, другое пространство. Просто раньше, может быть, никому не приходило в голову так заново начать и так раздвинуть границы своего бытия, своей ипостаси. Если бы эта возможность пригрезилась, пригрезилась бы кому-нибудь, была бы решена проблема смерти, бессмертия. Но ведь можно начать с того мгновения, когда Миша был, Миша уже пришёл и ещё

не ушёл. Неужели такое возможно? Это настолько страшный вопрос, что я даже не могу задать его себе самому, не могу решиться. Но так я ещё не пробовал. А то, что называют сознанием, это и есть проба. И, к сожалению, пробуют лишь в одной ипостаси, своим сознанием.

А я знаю сейчас, вот в эту минуту, в эту секунду, я знаю, что можно попробовать иначе. Просто никто не пытался. И какой-то страх удерживает меня. Вот я сижу за этим моим круглым столом. Противоречащего нет. Всё возможно. Я собираю за этим кругом мгновения, лица, собеседников, теряя границу между теми, кто был, и теми, кого не было. И чувствую, что это опасная, страшная и блаженная возможность. И что она почему-то мне сегодня дана. И хотя первый раз, когда она была мне дана вчера, до того, как произошел этот технический сбой в диктофоне, почему-то вчера, когда я перебирал только мгновения, от которых можно было бы начать свою новую ипостась, я не почувствовал той возможности, которую ощущаю сейчас. Нужно решиться. Вчера я только выбирал и потратил время. И не смог сделать выбор. И время ушло. А сейчас вот оно. Но я никак не могу решиться. Я не знаю, что будет за той гранью, которую я сейчас переступлю, раздвину. Если я держу перед собою зеркало, в котором отражается моя ипостась, то вдруг я начинаю понимать, что это другая ипостась. И она смотрит на меня другими глазами. Я знаю, что нельзя смотреть, нельзя хотя бы на мгновение задержать свой взгляд, который встретил ответный, оттуда. Я никогда этого не делал, и никто не делал так. Все чувствовали, что это опасно. Можно утратить то, что ты получил уже и имеешь. Нет, память останется, но ты утратишь возможность эту свою ипостась довести до конца. Есть такие мгновения. Есть они и в литературе. У Гайдара есть гениальная притча о Горячем камне. Тогда он очень точно объяснил себе самому, почему он не решился разбить этот камень и начать жизнь снова. Но у него не было и понятия об ипостаси. То была совершенно новая жизнь, но твоя, и принять её, решиться на то, чтобы её принять, решиться на то, чтобы разбить этот камень значило принять эту свою ипостась как неудачу. Не мог прожить одной жизни, захотел другой. И вот он не решился. Эта притча гениальна. Но у него не было представления, не было предощущения, не было понятия о том, что такое ипостась.

А вот если бы оно жило в душе, можно было бы решиться. Ипостась это не другая жизнь, а это та же самая другая. И вот в этой той же самой другой

жизни неужели что-то будет навсегда утрачено? И память о том, что утрачено, сохранится. И ты будешь знать, что ты навсегда утратил то, что было в той ипостаси, из которой ты ушел. Память о ней будет, а сама она навсегда уйдёт от тебя. Это совсем другой вариант гамлетовского вопроса – что будет там? Что будет здесь, если ты решишься, если не поставишь самому себе запрет, если не сделаешь так, что опять останешься за этим круглым столом один. И все лица, судьбы, состояния, которые только что окружали этот круглый стол, исчезнут в полумраке утра. Да, это совсем другое. И главное, это вполне возможно. Днем, когда шумы отвлекающего бытия мешает сосредоточиться, тогда это кажется некоей фантазией. Может быть, сюжетом ещё одной страшной сказки. Но сейчас это настоящая реальность. Человек никогда не решается переступить границу. А много раз такая возможность была у каждого, у всех. Из этого состоит сознание. Сознание не может быть таковым, если оно не допускает этой возможности. Но, как правило, оно её боится, оно её отводит от себя. Сознание само себя отвлекает от этой реальности. И вот возобновилось вчерашнее мгновение. И вот я сделал свой выбор и успел. И теперь начнётся для меня моя же собственная ипостасная жизнь. И будет она только по утрам, а потом я буду днём приходить в себя. И всё это покажется каждый раз фантазией, сюжетом. Но каждое утро будет вновь возвращаться. Это, оказывается, вполне доступная великая возможность. И я попытаюсь выдержать и не побояться её. И, наконец, переступить эту черту. Что-то очень страшное выходит навстречу мне. И неужели я сейчас в состоянии не побояться? Утреннее время скоро кончится. Но я буду ждать следующего утра. А сегодня я решился, и пока ещё ответа оттуда нет. Ответ будет завтра. А кто знает, может быть, и день пройдёт в ожидании нового утра. Утра, когда я действительно решусь, потому что сейчас я ещё запрещаю себе переступить эту вполне открытую мне черту. Я спокойно останавливаюсь перед ней, я улыбаюсь себе самому. Я ещё и ещё раз изъявляю волю к тому, чтобы ничего не утратить из того, чем была полна и переполнена моя уже прожитая жизнь. И мне кажется, мне удаётся ее вновь собрать в душе. Даже выбрав мгновение, от которого начнется новая ипостась в этой моей нынешней ипостаси. Сейчас всё удаётся. Утреннее время кончается. Но я могу раздвинуть его границы. И пока прерываю свой разговор с самим собой.

Отныне он будет во мне в течение дня. И даже во сне. Пробудившись от которого, я совершу первый шаг за эту несказанно ощутимую мною черту.

25 января 2020

Прожить совсем другую жизнь или заново пережить свою ипостасную. Ипостасную по отношению к той, которую ты уже прожил. Вот для меня мудрость жизни. Вот откровение, кроме которого я уже никакого иного не хочу. И мой герой, перебирая все лучшие мгновения, от которых можно было бы заново начать, вдруг обнаружил, что они сближаются. В реальной жизни они отходили в прошлое и отдалялись друг от друга. А теперь происходит как будто всё наоборот. И они неуклонно и неотвратно идут друг к другу. И всё равно не сливаются. Ну, как и должно быть, ибо эти мгновения, от которых ты хотел бы заново начать, ипостасны друг другу. Сближаясь, они не уподобляются. И происходит то, что казалось невозможным. Пережитое однажды нельзя вернуть, и оно не возвращается. Оно ипостасно является вновь. И можно начать даже с того мгновения, когда было еще далеко до того, как я встретился с моей Беатриче, задолго до того, как явился и возмужал мой сын. И в первом случае я могу быть уверен в том, что моя новая жизнь не минует счастья моего отцовства. Но все будет не так, как было. И возможно, будет иной исход. Этого никто не знает. И вот я чувствую, что мгновения сближаются, но не сливаются в одно фаустовское, от которого я сызнава начну или которому скажу, как Фауст: «продлись». Я, видя, как это происходит, ничего не утрачиваю из того, что мне дорого, и всё является в новом существовании, в новом смысле. И поражает, как нечто совсем небывалое и не пережитое. Неужели такое возможно? Да, возможно. Пока ты жив – в воображении; пока ты можешь это вместить в слово, оно будет жить как никогда. Ибо словесное выражение и есть полное выражение жизненной правды. Или почти полное. Или иначе полное, чем живописный образ, мелодия или произведение какого-либо другого доступного тебе искусства. Всё равно, это способ не остановить, но поймать и навсегда вернуть себе, каждый раз в новом проявлении, того, что было так свято, так дорого и отчего ты вновь хочешь прожить свою небывалую ипостасную жизнь. Это удивительное открытие обновляет всего меня.

И я вспоминаю только что виденный и такой светлый, и такой счастливый сон. И в этом сне я был старше тех, кого я заново увидел. И они питали мой дух своей молодостью. И я чувствовал, что я успеваю встретить эту молодость. И тут я просыпаюсь, и чувство, которое переживалось во сне, полностью переходит в мою реальность. И я с беспокойством оглядываюсь вокруг в полутьме комнаты и спрашиваю самого себя: так что же, неужели все-таки возможно точное вновь явление того, что было. Без ипостасных изменений. Такое, каким я вечно хотел бы его переживать. Да, на грани сна и яви такое возможно. И в твоём искусстве тоже. Но всё равно, незаметно для тебя, оно, это счастье пережитого мгновения, будет новым, будет по-новому радостным, как тот сон, который ты только что видел.

Я вспоминаю вчерашний вечер, за этим столом собрались мои ученики, почти вся группа. Слушали доклад одной из девочек, которая пишет об утопическом социализме сегодня и завтра. И ловит в воздухе времени неизбежность таких мечтаний, порывов мысли. Но ей нужно помочь оглянуться в мировом хозяйстве исканий, гениальных прозрений, предостережений. Таких, как об Атлантиде Платона, таких, как дивное учение Руссо, таких, как радостный, победный и горький, и трагический опыт разумного эгоизма. И вновь перечитывая тексты Томаса Мора и Кампанеллы, собрать всего себя и встретить 39 или 35 год нашего столетия. Когда девочку спросили, верит ли она, что он состоится, и земля за это время не превратится в ледяной шар, безжизненный или почти безжизненный, она точно и уверенно ответила: да, она в это верит. Но пока эти мечтания в ее мире совершатся на каком-то острове, куда долетают вести о том, что происходит на нашей планете. И мечта о таком социализме, освобождающем мир от себя самого, долетает. Они, эти вести, долетают до утопического острова, где она по-детски мечтает и откуда она вынесет, я это чувствую, не нарушив жизни, вынесет свою мечту. И ребята, все они кончают 11 класс, сидели тихо, внимали ей, как это бывало когда-то, когда люди, собравшись вместе, мечтали о лучшем, мечтали о светлой жизни в будущем. «И только высоко у царских врат ребёнок плакал о том, что никто не вернётся».

Это было мгновение, которое, кажется, можно было бы продлить. Но моя ипостасная вера снимает самый принцип продления. То, что, казалось бы, так просто пожелать, по-настоящему Фауст никогда не пожелает, потому

что это желание противоположно. Возможна ипостасная жизнь любого мгновения. Она, эта жизнь, разрешает неразрешимые, казалось бы, противоречия, придает новый смысл тому, что так радовало душу, и даже продлевает границу твоей ипостаси, раздвигает или продвигает её в глубь ещё не прожитого времени. И вдруг я вчера, вот в той тишине, которая возникла, стал изъяснять свою ипостасную веру. Стал говорить о том, что человек для меня это не только индивидуальность, не делимая дальше, не только личность, которая индивидуальное делает общим, интересным и важным и ведёт за собой, но и ипостасным, взимопереходным. И мы вдруг почувствовали, все, сидевшие в этой тишине, теперь они внимали уже мне, мы почувствовали себя такими близкими, такими родственными, что, я думаю, мгновение будет жить. Разумеется, в новом своём проявлении для каждого из тех, кто вчера это слышал. А я с удивлением готов был до конца, от начала и до конца, передать и пересказать всё то, что так по утрам задиктовал самому себе в разговоре с самим собой.

Я прервал себя, было уже поздно, нужно было расходиться. Но какими по-особому тихими, сосредоточенными, близкими и родными, не желая этого, они уходили. Каждый в свою жизнь, каждый в свою работу по мировой литературе. Потому что я видел, как хотелось точным словом выразить то несказанное и особое, что было в каждом в этот вечер. Они не хотели уходить, задерживались, и мы стояли перед порогом. И наконец, они всё-таки переступили этот порог. А я был очень недоволен тем, как прошло это занятие. Мне казалось, что я что-то лишнее, что-то необязательное пытался им навязать, вовсе не желая этого. И вот после такого вечера я увидел мой хороший сон. Это был утренний сон. А такие сны сбываются. И вот я сейчас молитвенно удерживаю в душе то несказанное, то неизменное и, я чувствую, вечно новое состояние и чувство, которое удалось пережить и вчера, и сегодня. Да, я счастлив этой мечтой, этим возвратом к себе самому. Но самое трепетно волнующее во всем этом, что они, ребята, почувствовали, что со мной происходило, и как-то по-особому тихо радостно простились со мной.

26 января 2020

Пол, национальность, подлинно глубокая вера – это всё незыблемые ограничения, незыблемые границы, так или иначе разделяющие людей, даже противопоставляющие их. Но по-настоящему ипостасный принцип может быть применен и здесь, именно здесь. Ведь точно так же незыблемой кажется та ипостась, в которой ты пребываешь сейчас, и в которой тебе определён природный срок, после которого, по некоторым представлениям, ты вообще перестанешь быть. Трудно перейти грань ипостаси. Кажется, она незыблема. И если точно это почувствовать, то может показаться, что вообще грань ипостаси непроницаема. Но это не так и именно здесь, где, казалось бы, эти разделительные начала незыблемы. Ведь сущность ипостасного бытия как раз в том и заключается, что при всей проницаемости грани сознание жизни, то есть по Толстому, сама жизнь, настоящая, подлинная жизнь, возвращается к себе самой. Дело ведь не просто в преодолении. Есть то, что незачем преодолевать. Ну, вот грань своего дарования. Если её нарушишь, оно исчезнет, оно перестанет быть. Любой творческий замысел имеет грани. Больше того, их нужно, в первую очередь, определить. И только тогда рождается образ, строчка, мысль. И тем не менее, дарование есть путь ко всему бытию. В любой сфере. Достигнешь определённой или предельной возможности творить, тебе открывается твой ипостасный вариант бытия. Вообще возникает возможность увидеть, почувствовать его, это бытие.

Но ипостасность предполагает выход за пределы границ и, как уже приходилось нам говорить, обогащенный возврат к себе самому. Бог отец, Бог сын и Бог дух взаимопроникают друг в друга и остаются собой. И то же самое с ощущением пола. Я мог бы вспомнить те мгновения, когда я почувствовал свой пол. И вдруг я понял, что этот особый способ видеть, говорить, решать принадлежит именно моему полу. И что мне еще предстоит по-настоящему почувствовать эту возможность. И обещает оно не только радости счастья и наслаждения любви, но вообще этот особый способ мироотношения. И тем не менее, в искусстве слова, разумеется, не только в искусстве слова, но в нем особенно, очевидно, рождается внутри этого ограничения способность видеть, чувствовать, переживать за пределами своего пола. За гранью этой особой способности быть, и почему ты не боишься выходить за эту грань? И это и называют любовью. Сколько об этом

сказано. Но мне думается, что именно такой вот этот мой способ чувствовать природу ограничения и правду его преодоления, и счастье познания, когда преодоление происходит, и возврат к себе самому – что именно этот способ еще даст возможность что-то очень важное сказать о любви. О которой только и говорит образное художественное слово. И, казалось бы, только это и чувствует по-разному подлинное сознание жизни, бытие или сама жизнь. Тут может родиться и настоящий, еще до сих пор не попробованный сюжет, и быть сказано нечто, что обогатит даже после «Песни песней» и всех попыток сказать о счастье любви.

И точно так же с подлинной верой и с национальностью. С национальностью, казалось бы, проще, естественнее. Сколько примеров и какой богатейший опыт ипостасного выхода за пределы своих национальных ограничений и ограниченности. Своих национальных ограничений и своей ограниченности. Сколько замечательных и счастливых примеров этих межнациональных соединений, этих мутаций. Больше того, кажется, что здесь есть особое, еще не попробованное человечеством будущее. Тут грань более прозрачна и проходима, чем когда мы говорим о грани пола. Но она просто иначе проницаема, эта грань, чем грань пола. Речь идёт совсем об ином взаимопроникновении – о тождестве, противостоянии и взаимопереходе. На самом деле, она не менее драматична. Но есть попытки сейчас уничтожить незыблемость этой проходимой грани, то есть уничтожить собственно ипостасную её природу. И вот это, если вспомнить религиозные и биологические запреты, вот это и есть грех. Это и есть Содом и Гоморра. Это и есть та бездна, в которой нет правды, потому что нет ипостасности. Как странно, раньше я не думал об этом так, раньше не пользовался такими категориями. Да и сейчас удивительно, почему спустя столько времени и после стольких утренних медитаций я вдруг почувствовал возможность так думать, так чувствовать, так верить. Значит, этот вопрос для меня очень серьезен, и неплохо бы высказаться об этом, потому что нарушение закона ипостасности есть причина, может быть, главная причина всех человеческих грехов.

И это понятие об ипостасности позволяет заново определить, что такое грех и что такое безгрешная чистота души, даже в физиологии бытия. Но как подступить к этой теме, как родить такой сюжет? Да, недаром я не пробовал это сделать раньше. Потому что именно здесь нельзя допустить ошибки,

именно здесь нельзя нарушить эту несказанную природу бытийной правды. Здесь скрыта новая, ещё по-настоящему не пережитая, не воспринятая красота. И я уже начинаю видеть очертание этого сюжета. И мне думается, что найду какие-то особые способы сказать об этом. И не побоюсь этого сделать. И вот родится новая «Песнь песней». И вот заговорит то, о чём я так долго молчал всю жизнь, молчал. Когда об этом заговорили в нашем современном мире – однополые браки, вот то, что Пруст называл библейским понятием «Содом и Гоморра», я не испугался того, что моё молчание нарушено вне меня. Это было настолько чуждым, далеко от того, о чём я молчал. И только сейчас я подступаю к этому трепетному, молитвенному, ипостасному способу нарушить молчание, которое длилось всю жизнь. Но нужно в этом сюжете, видимо, так и разграничить пол, веру, национальность. И только на скрещении этих по-разному ипостасных начал родится новый сюжет. Пока его нет. И я не знаю, что будет, что произойдёт. А я предчувствую рождение этого нового переживания, этой причастности к тому, что будет сотворено.

27 января 2020

Сейчас впаду в библейскую тональность, весьма не современную сегодня. Запрет нарушать ипостасность – источник греха, универсальное начало греховности. Это нарушение ипостасного закона. Так ли? Кажется, если нарушена расовая ипостасность, ничего страшного не происходит. Метисы – чем они греховнее своим происхождением, чем расово чистые? Ну, а тот, кто изменил своей вере, перешел из одной веры в другую, быть может, утратил веру, то есть сменил её всё равно, ибо безверие это тоже вера. Ну что ж, такое для мыслящего, ищущего истину человека тоже вряд ли такой уж грех. Что касается ипостасности пола, то сейчас именно это и пытаются нарушить в нынешней свободной Европе. У нас в России меньше, но всё равно достаточно грехов и такого порядка. Ну вот, казалось бы, что ипостасность пола в наименьшей степени допускает нарушение, чем ипостасность расы и религии. Но как уже вот вчера я сказал себе самому, что такое нарушение по-разному даёт о себе знать в каждом случае из тех, которые я сейчас пытаюсь определить. И может быть, и в самом деле есть глубочайший смысл ипостасных запретов. Но всё-таки ипостасность пола

кажется наиболее незыблемой, и она биологически утверждена. И может быть, на поверку, самая несомненная в своей запретности. Ипостасность пола прерывает воспроизведение рода, рождение новых жизней. А рождение новой жизни ипостасно по своей природе. Если оно нарушено, воистину подвергнут отрицанию самый важный завет бытия. Вот почему, в целом, человечество не впадает в этот грех. Впадают индивидуумы, порою целые нравственные системы в тот или иной исторический период, у того или иного народа. Но всё равно запрет остаётся незыблемым, если взять и иметь в виду всё человеческое бытие. Кстати, отклонения, связанные с нарушением ипостасности пола, отчасти подсказаны ситуацией перенаселенности. Кажется, что таким образом человеческая природа регулирует численно сама себя. Однако, и этот вопрос тоже заслуживает раздумий. И в принципе такое нарушение не может не сознаваться, как некий грех против природы.

Расовая ипостасность, вроде бы, совсем безвредна и без греховна. Но и здесь человечество выдерживает запрет, несмотря на бесчисленные и, вроде бы, вполне безгрешные нарушения. Цветник расовых различий это не просто подарок природы. В этом есть некий глубокий смысл. И очень важно не забывать об этом запрете. И человечество не забывает. Думается, сейчас, когда, казалось бы, все запреты сняты, преодолены, этот природный, божеский запрет ещё имеет будущее. Красота, здоровье, естественность рождения метисов всё равно возвращает нас к правде расового разнообразия, которая, как некий предостерегающий запрет, чувствует кровь и чувствует нравственность. Здесь речь идёт о невозможности прервать внутрирасовую ипостасность во имя межрасовых нарушений. И люди выдерживают, в целом, этот запрет.

Ну, что касается религиозных ипостасных запретов, тут, оказывается, дело значительно серьезнее. Для тех, кто глубоко верует, а не для тех, кто ищет веру и даже, заблуждаясь, чувствует верный путь, как сказал бы Гете. Чистота исканий нравственной и религиозной правды, вместе с тем, не отменяет глубочайшего уважения к той религиозной версии, которая завещана и исходит из древнего, в какой-то мере, изначального опыта. Уважение это должно сохраниться и даже упрочиться. И при этом вполне простительно чистое, искреннее, религиозное по самой глубинной своей сущности искание и сомнение. Вот мы только слегка прикоснулись к этим

трем возможным нарушениям ипостасности. И мы видим, сколь разнообразны и не похожи друг на друга и эти запреты, и эти нарушения. Но чрезвычайно важный вывод, итог раздумий такого типа в том, что при возможной свободе различных решений в попытках нарушить ипостасный запрет, при всей такой свободе, нельзя нарушить какое-то необъяснимую до конца и непреодолимую, как бы кто ни пытался, запретность в преемственности от тех времен, когда эта запретность была жестоким, непререкаемым, не допускающим нарушений законом. Здесь мы подходим собственно к понятию нравственности. Новой нравственности, которая не отменяет прежнюю, условно сказать, изначальную. Ибо новое и изначальное тоже ипостасны. Вот почему там, где в особой мере действует природный, даже просто биологический, запрет, надо ему следовать. Надо знать, что это, и в самом деле, грех. Люди осознают это как грех. А в других случаях, когда речь идёт о расовой ипостасности и религиозной, греховно забвение о преемственности, греховно нарушение той временной глубинной ипостасной связи, которая несёт в себе некую, может быть, даже не вполне осознанную спасительную правду.

И вот я думаю, если бы такое учение, конечно, более точно сформулированное, продуманное, прочувствованное и подтверждённое всем богатством человеческого опыта, если оно ляжет в основу нравственности, очень многие неразрешимые проблемы были бы решены. Всё, что связано и с половым, и с расовым, и с религиозным поводом для разлада или искажения природы. Но тут я чувствую, что некий не слышимый мне, но услышанный мною голос говорит о том, о чём, кажется, молчит сегодняшняя культура. На самом деле, голос этот поверх тех вольных или невольных искажений правды, которыми живёт наше время. Голос этот спасительно удерживает человечество от гибели. И поэтому так важно его слышать, даже когда он совершенно не слышим. И я не боюсь библейской тональности в моём разговоре с самим собою. Наоборот, здесь чувствуется некий важный для будущего принцип. Принцип приятия того, что было, принцип свободы от догматического самоограничения в том случае, когда догма нарушает ипостасную связь взаимоперехода. И вот этот спасительный голос ждёт, ибо он не звучит въявь словесного выражения. И я чувствую, что я приблизился к какой-то ещё не высказанной правде. Приблизился и очень

осторожно отхожу на расстояние, чтобы ещё раз увериться в том, что это, действительно, правда. Я отхожу и убеждаюсь, что всё именно так.

... Пол. Раса, вера, если они осознаны вне ипостасного контекста, могут быть поводом для разрушения единства людей. Поводом к самым страшным противопоставлениям человека человеку, народа народу, одной духовности другой. И только контекст ипостасности делает их величайшими проявлениями единства и правды человеческого бытия. Ведь ипостасность предполагает преодоление ограниченности каждого из ипостасных явлений и возврат этого явления к себе самому. Ипостасность пола награждает это биологическое, казалось бы, проявление человеческой природы любовью, полной глубочайшего смысла, радующей душу великими откровениями не только в личном существовании, но и самоосознании бытия как такового. И наоборот, пол, вынутый из контекста ипостасности, ведет к животности, к абсурду поспешного, судорожного и смертельного наслаждения. И к смерти. Ипостасный контекст расы утверждает красоту расового, национального и этнического шире проявления жизни народа. Вообще открывает чувства народа. Как говорят сейчас, чувство национальной идентичности. Оно тоже глубоко ипостасно и при этом избавляет от ограниченности, от замкнутости этого чувства на себе самом, от всего того, что рождает и национализм, и нацизм. И самое страшное, казалось бы, трудно предотвратимое, в принципе неизбежное на Земле – войны одной крови с другой. Ипостасное ощущение веры, осознание веры, ипостасное откровение в религиозном чувстве избавляет от догматизма, ненавидящего всё то, что за пределами догмы и противостоит догме. А сегодняшний мир достаточно хорошо представляет примеры, возможности и реальности таких войн и такой ненависти. Но ипостасное истолкование религиозного чувства, при всей верности той религии, которую избирает всё существо человека, и не только его индивидуальное, но и личностное, и общее, возможно для того или иного народа – опять же без ограничений, без догматического сведения всего к одной религии. Она может быть доминирующей, но она тоже ипостасна по отношению к другим верованиям, которые могут жить в том же народе, в том же этносе. Именно это избавляет от ужаса религиозных войн, которые сегодня вполне явная реальность и должны быть предотвращены.

Ну и потом, вот все проблемы веры, все острейшие проблемы расы и все не менее острые проблемы пола – все они в ипостасном осмыслении,

каждая из них, ведут к осознанию их взаимной ипостасности. Пол, раса, вера ипостасны друг другу. Это целое учение. Здесь чрезвычайно важно собрать всё, что уже высказано, продумано; все, что уже есть в духовном опыте людей. Вот если это всё собрать, то тогда индивидуальное сознание через национальное, этническое переходит, как сказал бы Юван Шесталов, в планетарное сознание; а его религиозное чувство, религиозная ипостасная версия возносит в космический контекст, космическое сознание бытия и даже небытия. Которое в себе самом рождает освобождение от себя самого и творит бытие. Эта версия, эта закономерность, коль скоро она осознана, а осознать ее весьма сложно, она почти неуловима, как нам уже приходилось говорить в этой беседе, вот она, эта закономерность, радует душу больше, чем любое другое проявление бытийной и небытийной правды. Небытийная правда страшит, пугает. Но если понять её как ипостась бытию, она даёт возможность преодолеть этот страх. И мы тоже об этом уже беседовали по утрам. Все остальные проявления радующего душу сознания вливаются в эту громадную, необозримую, кажется, неуловимую формулу истины, правды, пути к правде.

И вот я чувствую, что я где-то продолжаю стоять на пороге озарения, на пороге того мира, где озарение обновляет душу. И самое, самое важное здесь – уловить эту божественную, рождающую чудесное самоощущение, правду ипостаси. Она есть преодоление себя, и она есть возврат к себе. И неспособность понять её природу, её божественную правду ведёт ко всем заблуждениям, какие только возможны. И это, вместе с тем, так просто. Божий порядок, проявившийся в триединстве ипостасной Троицы – Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой – и центрального проявления этой Троицы – Бог сын, вот этот Божий порядок надо всего лишь применить к небытию, к бытию и ко всем его проявлениям, рассматривая микрокосмическое проявление этой истины – человеческий опыт, человеческую природу, человеческое самоосуществление. Проследить, как это истина живёт и как она преображает те неизбежные для человеческого опыта формы бытия, которые воплощены в понятиях – пол, раса, вера. Я думаю, что-то сегодня почувствовалось в самом воздухе утра. В самом том особом состоянии, в котором я встречаю тревожные страшные вести о том, что творится в мире. И о том, что может сотвориться в самое ближайшее время. Абсурдность совершающегося вокруг я встречаю вот этим внутренним и готовым к тому,

чтобы его объявить, учением об ипостасности. И как важно всё-таки найти, создать, довершить создание сюжета ненаписанной повести. Он уже есть во мне, но я даже в разговоре с самим собою не решаюсь об этом сказать. Но он уже есть. И я думаю, завершая эти утренние беседы, как только я действительно их завершу, явно не завершая, потому что граница, замыкающая, казалось бы, их, живая. Она тоже подчинена закону ипостасности. Но как только эта живая граница, и в самом деле, явится мне и я почувствую: да, наши беседы кончены, пришло время сказать о том, что уже живёт в душе, и написать ненаписанную повесть.

... Ипполит Тэн утвердил свою триаду: раса, среда, момент. Ну, это одна из основ, ну скажем, его капитального труда по истории английской литературы. А у меня, я очень рад этому, совершенно своя, ипостасная триада: пол, раса, вера. Это очень хорошо, как мне кажется. И сейчас, прежде чем я начну всё-таки говорить о том сюжете ненаписанной повести, важно было бы уловить, какие же именно ипостасные связи соединяют эти три моих начала – пол, раса, вера. Они совершенно разные, казалось бы, и каждая из них может быть рассмотрена как особая проблема. Но по-настоящему природу каждого из этих начал можно рассмотреть только при ипостасной связи этих трёх начал. И здесь я подступаю собственно к философскому осознанию того, что я пытался себе сказать. И это будет не только религиозное истолкование ипостасности, это будет её расовое применение и проявление, и это будет сугубо человеческое, связанное с проблемой пола. Итак, раса, среда, момент. А у меня пол, раса, вера. В их нерасторжимой и сложнейшей, почти неуловимой, ипостасной взаимосвязи. Таким образом, Божий порядок будет соотнесён с земным. Я уже чувствую, продвигу, как это будет, как это определится и как это будет выражено посильным, по возможности, точным словом.

28 января 2020

Тютчев писал о роковом поединке. «Любовь, любовь – гласит преданье, /Союз души с душой родной – /Их съединенье, сочетанье, /И роковое их слиянье, /И... поединок роковой...». Здесь важно то, что сливаются родные души, что они соединяются, сочетаются, судьбоносно становятся единым целым и вступают в роковой поединок, тоже часто

судьбоносный. Эта глубокая версия была образно воспринята и развита Маяковским в поэме «Про это». Там роковой любви поединок. Обращаясь к незримый возлюбленной, с которой он пытается говорить по телефону, не видит её и не знает, кто с той стороны подошёл к телефону. Вообразив, что всё же это она, он обращается к ней. И мы помним: «чего задаетесь?» «Хочется крикнуть медлительной бабе: /Чего задаетесь? /Стоите Дантесом? /Скорей, /скорей, просверлите сквозь кабель/ пулей /любого яда и веса». Поединок, и воистину смертельный. Маяковский показал в «Про это», как такой поединок возводит героя на Голгофу. Вот ту самую Голгофу с мировым мещанством в Москве, в Кремле, на Иване Великом. Где в итоге «поэтовы клочья сияют по ветру красным флажком». Поединок, и при этом роковое влечение, роковое слияние, соединение, сочетание.

Понятия ипостасности не возникало ни у Тютчева, ни у Маяковского. А это всё связано с проблемой пола, в которой уже заложена необходимость ипостасного понимания любви. Да, конечно, все драмы, все трагедии, весь этот роковой поединок – всё это одна из форм разъединения того, что, казалось бы, предназначено друг для друга судьбою, природой, Богом. Если тут божеский порядок, божеский принцип, живущий в Троице, соотнести с этой вечной проблемой рокового поединка в любви, то очень многое может решиться. Пожалуй, никто ещё об этом не писал. У Гамсуна, где возведено всё к природной основе, природной таинственной органике того всеприродного Пана, который так точно навсегда воспет в одноимённом романе, там природа любви трагична. Об этом писали: счастливой любви у Гамсуна нет, зато есть поединок. И поединок этот во многом роковой. В романе «Пан» погибает и собака Эзоп, и девушка, любившая Глана. И вот, что изменится, если человеческую природу озарит это божеское начало ипостасности, озарит сознанием её. Ибо она всегда наготове в человеческих отношениях и очень редко осознаётся и побеждает. И тогда мы отказываемся от земного чувства, обращая взор к небу. Данте пронес это чувство через ад, чистилище, рай, следуя за Беатриче, возводя свой взор к Небесный розе, где она входит в единую силу, окружающую ослепительно сияющую точку в центре, Бога. Он всё же несёт в себе обаяние и святость земной любви. Одну из тех сил, которые в таинственном сочетании с борьбой, противостоянием воплощают ипостасное начало любви.

Даже в «Новой жизни» Данте рассказано об этом своего рода поединке. Беатриче ревнует Данте, упрекает его. И если внимательно вчитаться в текст этого романа в стихах и в прозе, то там по-настоящему ипостасного примирения не происходит. Беатриче умирает, и Данте клянётся быть ей верным и так устремить свой дух к познанию, чтобы быть достойным сказать о ней то, что не было сказано ни об одной женщине. И настоящее примирение происходит лишь в третьей части «Божественной комедии». Ещё в «Чистилище» мы видим почти роковой поединок. Беатриче так безжалостно, беспощадно упрекает Данте, что он лишается чувств. Итак, земное вознесено до самой Небесной розы и возвращается к себе на родину, на землю, чтобы на земле «увидеть лик Сократа, Будды и Христа». Увидеть на Земле.

Вот эта вот тайна должна быть осознана тем, кто хочет постичь ускользающую от человека, казалось бы, от его судьбы, правду любви. И здесь дело не в том, что произойдет соединение, сочетание и слияние, а в том, что можно разрешить роковой смысл этого слияния ипостасной правдой, приняв её от Небесной розы и принеся о ней благую весть на землю, раздираемую враждой – человеческих множеств, городов, государств, папской и светской власти, взаимной ненавистью людей друг к другу. Благая весть вот о такой ипостасной правде любви, которая движет солнце и другие светила, вот эта вот правда, по Данте, одна способна преодолеть человеческое зло. Зло разъединения. Того разъединения, которое не только разделяет любящих, но и распинает страну, Италию, весь мир, предназначенный ипостасному единству. Он по-своему искал, находил и нашёл слова для такого своего дантовского завета. Я к этому добавляю своё слово об ипостасности любви. Ибо вот когда чувствуешь где-то на грани своей ипостаси эту правду, для тебя ясно, что такое слово. Но это только для тебя, воистину, находится в начале. «В начале» – для меня именно это слово. Но уже на исходе ипостаси, когда, казалось бы, можно говорить о конце, но именно сейчас осознаешь, что оно, это божественное слово, в начале всего. И только такое понимание пола воистину спасает. А то ведь когда подводишь итог или, как писал об этом Маяковский, «Земных принимает земное лоно, /к конечной мы возвращаемся цели». Сказано точно. Конечная цель. Нечто такое, ради чего была вся жизнь.

И вот когда возвращаешься к этой цели, возвращаешься, значит, цель была всегда. Осознать, что это ипостасное начало есть основа всего и что надо только по-настоящему, молитвенно, пытливо, аналитически и образно её осознать и принять в себя, лишь тогда жизнь замкнется, для того чтобы раздвинуть свои границы, распахнуть их перед новым ипостасным проявлением в пространстве и времени. Да, пожалуй, об этом тоже стоило бы написать. И тоже внести это в уже живущий в душе сюжет ненаписанного. Он уже есть, но он ещё не родился. Я не спешу. Пусть он родится не по моей воле, а сам, своей собственной силой, которая по-новому скажет о себе. Новым словом, которое было и остаётся в начале. Но слово это обозначает силу и мысль и деяние. То событие, которое происходит в грозном и счастливом, счастливо разрешаемом поединке роковым, поединке любви.

29 января 2020

Попытка вырвать проблему пола из контекста ипостасности страшнее, чем может показаться. И до сих пор кажется, что геновая инженерия в этом вопросе – закономерное стремление познать и испытать природу. И поэтому в европейской культуре такая готовность попробовать, поэкспериментировать, может быть, объясняемая отчасти проблемой перенаселенности планеты, хотя собственно к Европе это отношения не имеет прямого, вот эта готовность страшна. Она грозит утратой жизни всего человечества, если только попытки эти будут успешны и внедрены со всей основательностью и последовательностью. И применены к жизни разных народов, где традиция сакральна и где соблюдение природного и Божьего завета – залог продолжения бытия. Удивительно, как Европа готова сейчас потерять всю свою культуру, память обо всём своем необычайном, предельно обогащающем нашу память опыте. Эта попытка ужасна. Я люблю Европу, европейскую культуру, литературу и чувствую естественность признания ипостасности всех европейских культур и русской. Все это будет утрачено. Трудно представить те уродства, которые могут быть порождены на этом пути. И вот лишнее свидетельство ипостасности в наших представлениях о Боге и высших, творящих, спасающих жизнь и духовно незаменимых ничем силах божества.

Природное и Божеское ипостасны друг другу в нашем представлении, в нашем человеческом сознании, в том, что руководит нами и спасает нас религиозно, научно, силой и обаянием искусства. Эти силы в их ипостасном соотношении оберегают нас от такого рода опытов. Именно они, а не только узкая и догматически понятая верность религиозным запретам. И вот здесь невольно мы приходим к ощущению и к открытию ипостасной связи между проблемой пола и расы. Под расой, конечно, мы понимаем не только глобальные расовые разделенности. Не только белую, чёрную, жёлтую расы. Национальность по крови. Здесь уже были попытки противопоставления рас. Высшей, низшей расы. Чудовищный результат таких попыток нам хорошо известен. Но это органично связано и с проблемой ипостасности пола. У Льва Толстого, в его истолковании Нагорной проповеди, вторая заповедь целиком посвящена, на мой взгляд, неверному, ошибочному в своём буквализме, пониманию слов Христа. Хотя Толстой постарался обосновать это как можно глубже, психологически, религиозно и художественно. У него вторая заповедь – не только о завете по возможности избегать наслаждения красотой женщины. А если это влечение не преодолено, то быть верным одной, никогда ей не изменять – это Толстой истолковывал как приоритет духовного начала над животным. И животное было противопоставлено духовному. И на этой основе Толстой создал не только свои проповеди, объявив их христианскими, но и роман «Воскресение». Где, в отличие от «Войны и мира», животное и духовное были категорически противопоставлены одно другому. Нехлюдов, соблазняющий Катюшу, чувствовал в себе эту борьбу двух людей – животного и духовного. Один из этих людей говорил ему: все так, всегда так, не упusti. Другой запрещал это животное проявление. Много потратил Толстой сил и гения для того, чтобы обосновать это своё истолкование. Но всё дело в том, что духовное и животное ипостасны, если исходить из заветов и приоткровений того учения, о котором я себе самому пытаюсь сказать. Ипостасность духовного и животного в проблеме пола открывает необычайные возможности ценить и любить бытие. Недаром в «Крейцеровой сонате» вставал вопрос о том, что, если это стремление преодолеть, чисто животное начало осуществится, то тогда, может быть, и род человеческий прекратится. И там Позднышев говорит прямо о том, что может прекратиться, если станет совершенно духовным. Тогда не потребуется воспроизводство, рождение. И жизнь

перейдет в какую-то другую, не известную нам форму осуществления. Мы откуда-то пришли и куда-то уйдем. Мы только знаем, что мы всегда были и всегда будем.

Это малоубедительное и мало убеждающее учение основано на всё же буквальном понимании текста Нагорной проповеди. А на самом деле, его можно переформулировать. Более точно. Может быть, даже и не порывая с текстом Евангелия от Матфея. Ведь попытка поставить духовное над животным неверна разрывом ипостасных связей между духовным и животным. Но столь же неверна и столь же губительна для жизни и для бытия в принципе, чисто философски, но и в этом смысле и в этом случае практически, неверна попытка поставить животное над духовным. Вот здесь Толстой был прав, когда говорил о том, что животное добывает жизнь для себя; духовное – для всех, а не для себя только. Ещё немного, и нужно было сказать об ипостасности этих начал, духовного и животного, природного и Божеского. О чём мы уже неоднократно говорили в этой беседе с самим собою. Ещё и ещё раз убеждаешься в том, насколько верна и насколько приоткровенна правда ипостасных связей. И она касается не только пола. Но он играет здесь свою, определяющую роль. Пол – это проблема ипостасного вновь рождения бытия. Но речь идёт не только об этом. Речь идёт и о национальном, в широком смысле слова, расовом проявлении человеческого бытия. И здесь попытка нарушить эту ипостась приведет к гибели, к оскудению. А если это будет, и в самом деле, осуществлено со всей последовательностью, то это приведет и к гибели человечества. Бытие, расово, национально проявленное в генотипе, свойственном разным народам, это не только богатство, красота и богатство, неисчерпаемость, многообразие жизни. Это условие существования. Конечно, существовал опыт преодоления этих границ. Вроде бы, тоже естественное.

Вроде бы, даже советский опыт, породивший особую новую общность, советский народ, который, как будто бы, поглощал в себе национальные разграничения и противопоставления – это тоже проблема, которая требует к себе очень серьёзного внимания. Вроде бы, она была успешна, потому что советский народ это не иллюзия, не абстракция. Это реальность, во многом осуществленная. И вроде бы, здесь очень многое удалось. Но отчасти это тоже было одной из причин крушения этого удивительного опыта, этого, во многом, ошибочного направления, решения, порыва и прорыва в будущее.

Многое удалось, но не удалось главное. И то, что, казалось бы, было так естественно в пределах Советского Союза – осуществить модель такого общежития, которое предначертано самой историей и всему человечеству. «Это чтобы в мире, без России, без Латвий, жить единым человеческим общежитием». Вот идея такого единого человеческого общежития осознанно или неосознанно вызвала, вызвала и будет вызывать протест. Учение об ипостасности спасает от таких попыток. И они не могут быть возрождены. Хотя смешение, казалось бы, такое преодоление запретов, вроде бы, вполне возможно и будет осуществляться. Но оно всё равно в какой-то момент потребует преодоления. Я вижу иначе будущее. Мне близко есенинское, провозглашенное на весь мир, предупреждение: «Но и тогда, /Когда во всей планете /Пройдет вражда племен, /Исчезнет ложь и грусть, – /Я буду воспевать /Всем существом в поэте /Шестую часть земли /С названием кратким Русь». Здесь я вместе с Есениным.

Это природное и божественное ипостасное многообразие тоже не просто украшение, не просто красота бытия. Это тоже условие самой жизни. И планетарное сознание оскудеет, не хочу сказать погибнет, хотя невольно надо сказать и это. Оскудеет и погибнет, если закон этой великой ипостасности будет нарушен. Чистое противопоставление крови, одной крови другой, есть тоже великое нарушение закона ипостасности. Равно как и попытка смешать все крови, создать единое человечество, в котором утонет, пропадёт, растворится национальное ипостасное утверждение единства. Взаимопереходность ипостасной правды в великой проблеме расы, понимаемой широко и в том определённом смысле, который мы ему придаем. Богатство будущего неотделимо от того, чтобы в нём продолжал звучать голос каждой из национальностей. Поэтому и советский опыт прекрасен был в тех проявлениях, которые открывали равноправие. Надо было бы сказать, ипостасное равноправие национальных культур, всех народов Советской России. И где нужно было очень осторожно регулировать поглощение разных национальных культур одной только русской. Ибо на этих путях исчезал и русский язык. Он становился советским. И тогдашнее представление о том, что в итоге именно этот язык будет единым и общим для всех народов, ложно и губительно. Это тоже одна из причин гибели советского опыта. Это тоже одно из предупреждений. Уж если говорить о возрождении Советского Союза, кто-то всерьез считает, что это в новых

формах возможно, то этой страшной ошибки, которая была тогда допущена, надо всячески избежать. Здесь тоже необходимо, спасительно, целительно учение об ипостасной правде. Как вопрос пола, так и вопрос расы решается только на этих путях, только в этих формах. И здесь нам еще предстоит большое будущее, если только мы осознаем правду этого учения. Если только мы представим себе весь масштаб тех усилий, которые спасут человеческое бытие и сохранят в себе лучшие достижения истории соотношения разных народов и разных человеческих рас. Трудно переоценить масштаб и значение этой религиозной, научной и художественной правды о прошлом, настоящем и будущем.

30 января 2020

Божеские законы могут вполне стать человеческими, как в жизни отдельных людей – ипостасность пола, так и в судьбе и жизни целых народов и рас – ипостасность национального. Что здесь опережает? Вот эта, казалось бы, биологическая, а на самом деле высоко духовная ипостасность, пол, раса, или социальная – вся история человечества, история отдельных народов, от постигаемой нашим знанием древности до современности, до представления о будущем. Социальность есть форма осуществления ипостасности пола и расы. Впрочем, здесь и живёт обратная связь, потому что все божеские и могущие стать человеческими соотношения подчинены закону ипостасности. В сознании человека, менталитете народов порой социальное выходит на первый план. А для кого-то она есть проявление соотношений, которые существуют в человеческой природе, и в особой форме – осуществление множеств этнических и расовых. И таким образом мы невольно выходим к третьему проявлению – вера. Возникает оно из первого и второго. По сути, возникает оно из сознания необходимости и возможности жизни – отдельных людей и этнических, и расовых множеств. Насколько возможна жизнь, в чём её смысл? Иными словами, во что верить отдельному человеку и целым народам? Но вот эта высшая форма сознания открывает природу духовной культуры – отдельного человека, целых народов, из которых складывается человечество. А как мы знаем, природа эта ипостасна внутри себя: религия – наука – искусство.

История духовной культуры, понятой именно так, вообще приоткрывает законы и природу ипостасности. Кажется, что изначально живёт и осознаётся вера. Затем она порождает необходимость проверить то, во что веришь. Так возникает наука. А дальше на этих путях научного и религиозного знания осознаётся искусство – как способность человека, целых народов и человечества в целом испытывать опытом жизни религиозные и научные истины. И вместе с тем, эти три основы духовной культуры, три, предельно общего типа в типологии духовной культуры, равноправны друг с другом на началах ипостасности. Неважно, что было в начале, что было исходным из этих трёх. Важно, что и то, и другое, и третье ипостасны друг другу. Нам очень трудно решить вопрос об этой последовательности. Первое, второе, третье. И трудно решить именно потому, что вопрос этот разрешим только с помощью понятия об ипостасном соотношении. Ибо вера одновременно есть и проверка, и образное освоение опыта. Осознаётся это в разной мере в разные эпохи и на разных этапах истории по-разному. А ипостасная связь между этими началами изначально, одновременна. И осознать эту связь значит очень многое познать в объяснении, истолковании прошлого, в этой ориентации в настоящем и в этом предвидении, предчувствии будущего. Таким образом, проблема ипостасности веры, расы и пола открывает какие-то вот ещё не постигнутые соотношения и законы человеческого бытия. Вот почему разные веры, а вера отдельных людей и целых народов различается, вот почему она есть начало нерушимо объединяющее, хотя и подвижное. Казалось бы, подверженное человеческой воле и воле множеств – равнодействующая народа, расы. И сложенная из этого многоголосия равнодействующая духовной культуры человечества. Она неразрывно связана с полем и национальным многообразием человеческой природы или человеческого божественного начала.

И если это будет по-настоящему осознано, многое станет ясным и многое будет скорректировано в опыте планетарного бытия. Тут уже очень многое мы сказали себе самим, я сказал себе самому. Разбираться нужно. Но социальное тоже ипостасно этому триединому соотношению, о котором сейчас идет речь. Ипостасность порождающего и порождаемого в их соотношениях друг с другом божественна и человеческа именно тем, что она подлинная ипостасность. Здесь тождество, различие и взаимопереходность

одновременны, хотя и не одновременно осознаны; и потому ипостасны, что одновременны, хотя и не вполне осознаны. Нужно, чтобы сознание жизни, которое Толстой справедливо истолковал как саму жизнь, было бы на высоте этих соотношений, стремилось бы к ним и осознавало бы их, достигнув глубинного ипостасного понимания этих соотношений. Многого пришлось бы тогда избежать, а, главное, не пришлось бы бояться тех нарушений, которые возможны между этими разграничениями, потому что существует закон взаимопереходности. И потому что закон взаимопереходности есть особое ипостасное проявление закона единства. И он открывает возможность постижения религиозного, научного и художественного, когда ипостасность познаёт самое себя в человеческом опыте.

Религиозные войны и противостояния – одно из самых страшных испытаний, в том числе и в социальном проявлении. И сейчас мы переживаем как раз этот этап истории. Планета кажется перенаселенной, борьба за жизнь становится наиболее острой, нетерпимой. И в этом смысле не только греховность человеческого опыта, но главная его греховность – нарушение ипостасного понимания этих соотношений – становится наиболее острой сейчас. Казалось бы, прямо ведёт к конечной катастрофе; к тому, что страшнее того, воссозданного образно в «Махабхарате» оружия, которое вонзается в зародыши и которое герои эпопеи могут испустить из себя и, одумавшись, вобрать его в себя и таким образом избежать страшного конца. Это страшнее. Это самое страшное происходит у нас на глазах. Переселение народов – красивая сказка по сравнению с тем, что творится в мире сегодня, когда третий мир овладевает и овладеет своим правом на жизнь. В том числе, и своим пространственным правом. Когда Китай и Индия, но прежде всего, Китай, перестанут себя сдерживать в своих государственных традиционных границах, хлынут через этих границы. И это уже происходит. Пока ещё сдержанно, в традиции государственной социальности. Но и, разумеется, наученные опытом страшных вооружений, которые разрешат этот глобальный конфликт уничтожением бытия.

Здесь ощущение ипостасности разных религий, разных конфессий, в том числе, и разных индивидуальных способов верить спасительно. Держись своего верования, но знай, что отличное от него верование, другое, ипостасно твоему. Всё дело в том, насколько глубоко совершается погружение в тот вариант решений, который заложен в основе веры,

конфессиональной или личной. И глубина этого погружения приводит к тому, что индусы мудро осознавали как различные пути к Абсолюту. Здесь очень много схожего. Путь любви. Путь знания. Путь вождей. Они расходятся на начальных этапах, постепенно приобретают черты друг друга, свойства друг друга, сближаясь и одновременно приближаясь к Абсолюту. И наконец, отождествляются, вливаясь в Абсолют. Но мы уже знаем, что такое представление об Абсолюте, такое представление о путях к нему упрощает правду этих соотношений. Здесь как раз не хватает ипостасного их понимания. И поэтому только одно из проявлений ипостасности – тождество – Абсолют – возводится в особую степень цели и правды. И таким образом не только отрицается в итоге этого процесса ипостасность, но отрицается и многообразие бытия, и само бытие, и ипостасность сознаний. Они преодолевают свои ипостасность, растворяясь в Абсолюте. Таким образом, глубочайшая мудрость этой индусской версии приводит к величайшему заблуждению, от которого вера в ипостасность спасает. Здесь нужна вера, которая вбирает в себя ипостасность расы, пола, индивидуальную самоопределенность сознания, народную и всечеловеческую. И только такой образ, только такое представление цели и смысла бытия соединяет всю систему.

И приоткровение этой правды даёт подлинную радость, радость удержания, оправдания бытия. Ибо иначе бытие поставлено под сомнение. И оно так или каким-то иным способом преодолевается. Даже Лев Толстой в своём учении о жизни, полагая, что мы откуда-то пришли и куда-то уйдём, но всегда будем, допускает преодоление того, что он сам называл возможностью царства Божия на Земле. Величайшая ценность бытия, проявленная в земном существовании, в природном, духовном и телесном в ипостасном единстве, оказывается в его учении чем-то преходящим. И поэтому он сам себе внушал, что любит смерть. И таким образом противопоставлял себя Фёдорову, считая, что вот Фёдоров не любит, ненавидит смерть, отсюда его учение об общем деле воскрешения. А он, Толстой, любит смерть. Он по-настоящему так и не смог это внушить себе, как я представляю себе это. Даже когда приблизился к границе своей ипостаси, даже в самые последние минуты сознания. Ибо его формула «Бог есть безграничное всё, а человек – ограниченное проявление Бога» вбирает в себя и это прозрение, и это глубочайшее заблуждение, разлучающее

человека с бытием, человеческим бытием. Ограниченное проявление Бога у человека, стремящегося к подлинной жизни, по Толстому, стремится к преодолению самого себя. И величайшая, данная только такому гению, как Толстой, любовь к бытию, в том числе и плотскому бытию, то, что и Мережковский называл этим особым прозрением, называл этим особым чувством плоти, откровением плоти, у Толстого пришла в противоречие с его духовным учением, которым он пытался заменить свое, как Томас Манн полагал, языческое ощущение бытия. Присущее ему, подаренное ему в такой степени, в какой никому оно не было дано. Разве только античности, гомеровскому полному, всеобъемлющему, пластичному, осязаемому чувству жизни. И античной скульптуре, в которой выражалась не одна телесная гармония, а гармония тела и духа, насколько это было доступно пониманию в то время. Толстой этим был наделён сполна. Его, как говорил мой дядюшка Самохвалов, покачивало от таланта, данного ему. «Но он на этот талант капал, – как говорил дядя Шура, – капал с бороды, капал из абстракции своего учения». Здесь было нечто недодуманное, что вполне возможно продумать до конца и обрадоваться тому, что при этом откроется земному чувству бытия. Откроется по-настоящему ипостасно понятому полу, откроется народным единством, ипостасным по отношению друг к другу, и откроется в ипостасности самих религий, которые учат, в их ипостасном соотношении друг с другом, учат осознавать это. Вот о какой Небесный розе я фантазирую в этом разговоре с самим собой.

31 января 2020

Борьба классов – надстройка над природой человеческого и вообще всего бытия и небытия. И те, кто полагал, что история это борьба классов, авторы коммунистического манифеста, признавали временный характер этой борьбы и бесклассовость счастливого и светлого будущего. Но не только в теории. Советский опыт заслуживает очень глубокого изучения и внимания. В сущности, когда был создан этот особый тип единения, когда сложился советский народ, общество стало бесклассовым. Но интеллигенция, но рабочие, но крестьяне – всё это были советские люди, и борьба классов была преодолена. А это был явный путь к бесклассовости. Да и пример её уже являл советский опыт. А если это так, то, значит, классовая природа истории,

человеческой истории, есть нечто временное, преодолимое. Это, воистину, надстройка над природой. Вот опять невольный вопрос: что делать сейчас, когда классы появляются заново. Другие. Говорят о среднем классе. Можно выделять и другие объединяющие начала и определения: богатые, бедные, олигархи, просто россияне или жители любой страны. Те, кто несет в себе начала своего народа и отражает его в себе, как солнце в малой капле вод. Ну, можно прогнозировать новый виток классовой истории.

Но учение об ипостасности позволяет всё поставить на место. Классовость вторична на путях взросления народа, общества, человечества. То или иное будущее, насколько оно станет светлым или апокалиптически спасительным, или катастрофически чёрным, – всё равно неизбежно на этом пути взросления. И вот этот ипостасный принцип хорошо применить к истории борьбы классов. Здесь я чувствую что-то новое, совсем новое откроется. При этом та правда, которая связана с классовой историей человечества, сохранится. Она станет вторичной. Но она всё равно будет отражать борьбу внутри ипостасного начала. Да, речь идёт о борьбе, потому что это триединство, тяготеющее к одномоментности и всё-таки разведённое, распадающееся, образующее этапы и противопоставления, которые, на самом деле, – отступающие силы и тенденции развития. Они отступают от принципа ипостасности. Но так как это отступление есть заблуждение, они-то и сопряжены с основными сюжетами мировой истории. Да и сами эти сюжеты обретают какой-то совсем особый смысл. Они были бы преодолимы в прошлом, если были бы созданы и соотнесены с ипостасной природой развития и взросления. Неужели такое заблуждение неизбежно было? Думаю, что ничего неизбежного здесь нет. Но тем не менее, даже в качестве неизбежного или, как думалось, неизбежного, это заблуждение составляло сюжет мировой истории. И до сих пор составляет. А вот возможность понять его как свободное от этой неизбежности, как нечто вторичное, открывает новые пути в будущее и позволяет саму историю понять как не то грозное предупреждение, не то страшное и неизбежное проклятие, а как опыт, который уже не сможет повториться. Да, это тоже особая область, особая сфера учения об ипостасности. Коль скоро классы существовали, при всей их непримиримости, при всей ожесточенности борьбы, при том, сколько жертв этот Молох потребовал и какие это были жертвы, нужно понять как попытку нарушить закон ипостасности.

А если так, то возможность преображенного смысла исторического взросления бытия обрадует своей неожиданной правдой. Классовая ненависть, как и война, любая война, порождённая неисчислимым множеством причин, вдруг окажется вполне преодолимой. И то, что она не была преодолена исторически, тоже лишь подтверждение ипостасного откровения. Мы подводим итоги, мы говорим о конце мира, об окончательной, предконечной страшной войне. Да и индусская «Махабхарата» повествует об этой, потребовавшей столько жертв, войне. Жертвы ее, как повествует «Махабхарата» неисчислимы. Погибли почти все. И опять же, преодоление – это возврат героев и персонажей поэмы к себе самим, к тому, что они изначально были богами и, пройдя такое страшное испытание, вновь стали ими. Опять преодоление вознесено над опытом и будущим земного человеческого бытия. Ипостасное учение возвращает на землю, сохраняя все откровения, которые даёт религия. И эти попытки вознести над человеческим опытом некую иную божественную правду тоже предстанут как вполне преодолимое, хотя и по-особому неизбежное заблуждение. Вот, оказывается, и эпопею время напишет иначе. Будут иные возможности воспеть бытие. И если в самом небытии содержатся силы, освобождающие его, небытие, от него самого и творящие ипостасно новое бытие. Я путаюсь в словах, потому что это те минуты, когда я пытаюсь впервые для себя найти нужное слово. Мысль пока ещё бессильна, сила ещё не родилась, дело ещё далеко не совершено, и поэтому слово не созрело. Но я чувствую его возможность. И если некая внешняя власть не остановит меня, а она, я чувствую, останавливает, я ещё кое-что сделаю, вернее, кое-что скажу до того, как это будет совершено. А та сила, которая останавливает меня, должна же будет каким-то чудесным образом отступить.

Во всяком случае, для меня это завет мне самому – неотступно идти по этому пути, не бояться. Да я уже, мне кажется, и на самом деле ничего не боюсь. Вчера перечитывал свой очень ещё не доделанный, очень ещё не совершенный рассказ «Бомбоубежище». Это не просто воспоминания о блокаде. Мне тогда было пять с половиной. И однажды мы оказались в бомбоубежище, подземелье под нашим домом, как раз в тот момент, когда в дом совершилось попадание. Это было как раз над нами. И та часть дома, куда это попадание ударило, разрушилась. Там не было ни крыши, ни этажей, стояли только стены и пустые окна. Это совершилось ночью, когда

мы по тревоге спустились в это бомбоубежище, сложенное давно. И кирпичные своды его над нами, как раз в том месте, где мы стояли, эти кирпичные своды спасли нас. Они выдержали. Они сотряслись страшно, но они выдержали. Как ни странно вспомнить, но тогда во время налёта горела синяя лампочка, подвешенная на шнуре, на проводе, как раз в самом центре этого свода, этого кирпичного купола над нами. Она погасла, мы оказались в совершенном мраке. Но вот налет кончился. Тогда же были подожжены налетом бадаевские склады, и небо было охвачено заревом, разноцветным заревом. Сахар горел зелёным огнём, продукты – красным и синим. И когда мы поняли, что налет кончился, и враг мог оставить город, обреченный голодной смерти, мог не продолжать бомбежку, мы, казалось бы, были обречены. И такие слова о полном конце кто-то шептал, кто-то говорил рядом со мной. Когда мы вышли из подземелья и видели этот пылающий разноцветным огнём небосвод, когда всё это свершилось, когда мы долго, дольше всех, стояли на углу Большого проспекта и третьей линии и видели справа разрушенную часть нашего дома, а там дальше за Невой пылающее небо, и страшный ветер пронизывал нас, тогда я перестал бояться. В рассказе много неточного, многое я не мог вспомнить, кое-что воображение подсказало не совсем верно. Вот сейчас надо будет, доделывая этот рассказ, всё возобновить и действительно увидеть то, что я даже не увидел тогда. Я ещё не знаю, какими чертами, какими признаками реальной правды восполнится этот рассказ, но правда его ясна мне уже сейчас. Тогда я действительно перестал бояться. И сейчас, когда мне в душу грянул этот луч ипостасного учения о будущем, о прошлом, о той же пережитой войне и блокаде, я, вновь на грани своей ипостаси, которая должна быть сменена иной, перестал бояться. Боязнь всё равно жила и должна жить в душе на этой границе. На этой грани, на этом пороге вновь рождающегося бытия. Но я почувствовал, что пережитое в детстве предвещало это моё нынешнее состояние. И в таком состоянии, даже потеряв зрение, можно написать или продиктовать, или вообразить новую эпопею. Не «Илиаду» и не «Махабхарату». А нечто такое, что, несмотря на попытки некой силы остановить меня, не помешает произнести созревшее или близкое к тому, чтобы созреть, для меня новое слово.